

ТОЛСТОЙ

IBLINGUATOR

СМЕРТЬ

ИВАНА

ИЛЬИЧА

Лев Николаевич Толстой  
Смерть Ивана Ильича  
Leo Tolstoy  
The Death of Ivan Ilyich

## Смерть Ивана Ильича

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашёл разговор о знаменитом красовском деле. Фёдор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своём, Пётр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нём участия и просматривал только что поданные «Ведомости».

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте, — сказал он Фёдору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий ещё номер.

В чёрном ободке было напечатано: «Прасковья Фёдоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услышав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была и том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

In the big building of the law courts, during a break in hearing the case of the Melvinskys, the members and the prosecutor met in Ivan Yegorovich Shebek's office, and the conversation turned to the famous Krasovsky case. Fyodor Vassilievich became heated demonstrating non-jurisdiction, Ivan Yegorovich stood his ground; as for Pyotr Ivanovich, not having entered into the argument in the beginning, he took no part in it and was looking through the just-delivered Gazette.

"Gentlemen," he said, "Ivan Ilyich is dead!"

"Can it be?"

"Here, read it," he said to Fyodor Vassilievich, handing him the paper still smelling of fresh ink.

Inside a black border was printed: "It is with profound grief that Praskovya Fyodorovna Golovin informs relations and acquaintances of the passing away of her beloved husband, Ivan Ilyich Golovin, member of the Court of Law, which took place on the 4th of February of this year 1882. The funeral will take place on Friday at 1 p.m."

Ivan Ilyich had been a colleague of the assembled gentlemen, and they had all liked him. He had been ill for several weeks; it had been said that his illness was incurable. His post had been kept open for him, but there was an understanding that, in case of his death, Alexeev might be named to his post, and to Alexeev's post either Vinnikov or Shtabel. So that, on hearing of Ivan Ilyich's death, the first thought of each of the gentlemen assembled in the office was of what this death might mean in terms of transfers or promotions of the members themselves or of their acquaintances.

## The Death of Ivan Ilyich

«Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Фёдор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Пётр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для её родных».

— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Пётр Иванович. — Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Всё собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот, не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Пётр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

“Now I’ll probably get Shtabel’s or Vinnikov’s post,” thought Fyodor Vassilievich. “It was promised to me long ago, and the promotion means a raise of eight hundred roubles, plus office expenses.”

“I must now request my brother-in-law’s transfer from Kaluga,” thought Pyotr Ivanovich. “My wife will be very glad. Now she won’t be able to say I’ve never done anything for her family.”

“I thought he would never get on his feet,” Pyotr Ivanovich said aloud. “What a pity.”

“But what exactly did he have?”

“The doctors couldn’t determine. That is, they did, but differently. When I saw him the last time, it seemed to me he’d recover.”

“And I haven’t visited him since the holidays. I kept meaning to.”

“Did he have money?”

“It seems his wife has a little something. But quite insignificant.”

“Yes, we’ll have to go. They live terribly far away.”

“From you, that is. Everything’s far from you.”

“See, he can’t forgive me for living across the river,” Pyotr Ivanovich said, smiling at Shebek. And they started talking about the long distances in town and went back to the session.

## Смерть Ивана Ильича

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про неё, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет», — подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.

Ближе всех были Фёдор Васильевич и Пётр Иванович.

Пётр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Пётр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене газетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в чёрном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич: то ли дело мы с вами».

Apart from the reflections this death called up in each of them about the transfers and possible changes at work that might result from it, the very fact of the death of a close acquaintance called up in all those who heard of it, as always, a feeling of joy that it was he who was dead and not I.

“You see, he’s dead, and I’m not,” each of them thought or felt. Close acquaintances, Ivan Ilyich’s so-called friends, involuntarily thought as well that it would now be necessary for them to fulfill the very boring obligations of decency and go to the funeral service and to the widow on a visit of condolence.

Closest of all were Fyodor Vassilievich and Pyotr Ivanovich.

Pyotr Ivanovich had been Ivan Ilyich’s comrade in law school and considered himself as under obligation to him.

Having told his wife over dinner the news of Ivan Ilyich’s death and his reflections on the possible transfer of his brother-in-law to their district, Pyotr Ivanovich, without lying down to rest, put on his tailcoat and drove to Ivan Ilyich’s.

At the entrance to Ivan Ilyich’s apartments stood a carriage and two cabs. Downstairs, in the front hall by the coatrack, leaning against the wall, was a silk-brocaded coffin lid with tassels and freshly polished gold braid. Two ladies in black were taking off their fur coats. One, Ivan Ilyich’s sister, he knew; the other was an unknown lady. Pyotr Ivanovich’s colleague, Schwartz, was about to come downstairs and, from the topmost step, seeing him enter, stopped and winked at him, as if to say: “Ivan Ilyich made a botch of it; we’ll do better, you and I.”

## The Death of Ivan Ilyich

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Пётр Иванович.

Пётр Иванович пропустил вперёд себя дам и медленно пошёл за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Пётр Иванович понял зачем: он, очевидно хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьёзно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Пётр Иванович вошёл, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчёт того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату.

Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шёпотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаяющим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем лёгкими шагами, что-то посыпал по полу.

Schwartz's face with its English side-whiskers and his whole slim figure in its tailcoat had, as usual, an elegant solemnity, and this solemnity, always in contrast to Schwartz's playful character, had a special piquancy here. So thought Pyotr Ivanovich.

Pyotr Ivanovich let the ladies go ahead of him and slowly followed them up the stairs. Schwartz did not start down, but remained upstairs. Pyotr Ivanovich understood why: he obviously wanted to arrange where to play vint that evening. The ladies went on upstairs to the widow, and Schwartz, with seriously compressed, firm lips and a playful glance, moved his eyebrows to show Pyotr Ivanovich to the right, to the dead man's room.

Pyotr Ivanovich went in, as always happens, with some perplexity about what he was to do there. One thing he did know, that crossing oneself on such occasions never did any harm. Concerning the need to bow at the same time, he was not quite sure, and therefore he chose something in between: going into the room, he began to cross himself and to bow slightly, as it were. At the same time, insofar as his moving hand and head allowed him, he looked around the room.

Two young men, one a schoolboy, nephews apparently, were crossing themselves as they left the room. A little old lady stood motionless. And a lady with strangely raised eyebrows was saying something to her in a whisper. A reader in a frock coat, brisk, resolute, was loudly reading something with an expression that precluded all contradiction; the butler's helper, Gerasim, passing in front of Pyotr Ivanovich with light steps, sprinkled something on the floor.

## Смерть Ивана Ильича

Увидав это, Пётр Иванович тотчас же почувствовал лёгкий запах разлагающегося трупа. В последнее своё посещение Ивана Ильича Пётр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Пётр Иванович всё крестился и слегка кланялся по срединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшейся головой на подушке, и выставял, как всегда выставляют мертвецы, свой жёлтый восковой лоб с взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменялся, ещё похудел с тех пор, как Пётр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был ещё упрёк или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся.

Что-то ему стало неприятно, и потому Пётр Иванович ещё раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошёл к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив Широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Пётр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддаётся удручающим впечатлениям.

Seeing this, Pyotr Ivanovich at once sensed a slight smell of decaying corpse. During his last visit with Ivan Ilyich, Pyotr Ivanovich had seen this muzhik in the study; he had performed the duties of a nurse, and Ivan Ilyich had especially liked him. Pyotr Ivanovich kept crossing himself and bowing slightly in an intermediary direction between the coffin, the reader, and the icons on a table in the corner. Then, when this movement of crossing himself with his hand seemed to have gone on too long, he stopped and began to examine the dead man.

The dead man lay, as dead men always lie, with a peculiar heaviness, dead-man fashion, his stiffened limbs sunk into the lining of the coffin, his forever bent head on the pillow, displaying, as dead men always do, his yellow, waxen forehead with the hair brushed forward on his sunken temples, and his thrust-out nose, as if pressing down on his upper lip. He had changed very much, had grown still thinner, since Pyotr Ivanovich last saw him, but, as with all dead people, his face was more handsome, and above all more significant, than it had been in the living man. There was on his face the expression that what needed to be done had been done, and done rightly. Besides that, there was also in that expression a reproach or a reminder to the living. This reminder seemed out of place to Pyotr Ivanovich, or at least of no concern to him.

Something felt unpleasant to him, and therefore Pyotr Ivanovich crossed himself again hastily, too hastily, as it seemed to him, to conform to decency, turned and went to the door. Schwartz was waiting for him in the passage, his legs straddled, his hands playing with his top hat behind his back. One glance at Schwartz's playful, clean, and elegant figure refreshed Pyotr Ivanovich. Pyotr Ivanovich understood that he, Schwartz, was above it all and would not succumb to depressing impressions.

## The Death of Ivan Ilyich

Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелкнуть, распечатавая её, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожжённые свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер.

Он и сказал это шёпотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Фёдора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Фёдоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, всё-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в чёрном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

— Сейчас будет панихида; пройдите.

Шварц, неопределённо поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Фёдоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:

— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича... — и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.

Пётр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!». И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

His look alone said: the incident of the funeral service for Ivan Ilyich could in no way serve as a sufficient motive for considering the order of the session disrupted, that is, that nothing could prevent them from cracking a newly unsealed deck of cards that same evening, while a valet set up four as yet unlit candles; in general, there were no grounds for supposing that this incident could prevent us from spending that evening pleasantly.

He even said so in a whisper to the passing Pyotr Ivanovich, suggesting that they get together for a game at Fyodor Vassilievich's. But Pyotr Ivanovich was evidently not fated to play vint that evening. Praskovya Fyodorovna, a short, fat woman, who, despite all her efforts to achieve the contrary, still broadened from the shoulders down, dressed all in black, her head covered with lace, and with the same strangely raised eyebrows as the lady who had stood facing the coffin, came out of her rooms with other ladies and, accompanying them to the dead man's door, said:

"The service will begin at once; please go in."

Schwartz, bowing indefinitely, stood there, apparently neither accepting nor declining this suggestion. Praskovya Fyodorovna, recognizing Pyotr Ivanovich, sighed, went up close to him, took him by the hand, and said:

"I know you were a true friend of Ivan Ilyich ..." and looked at him, expecting some action from him that would correspond to those words.

Pyotr Ivanovich knew that, as there he had had to cross himself, so here he had to press her hand, sigh, and say: "Believe me!" And so he did. And, having done that, he felt that the result achieved was the desired one: that he was moved and she was moved.



## Смерть Ивана Ильича

— Пойдёмте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Пётр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: «Вот те и винт! Уж не взыщите, другого партнёра возьмём. Нешто впятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд.

Пётр Иванович вздохнул ещё глубже и печальнее, и Прасковья Фёдоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в её обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Пётр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Фёдоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала.

Садясь на этот пуф, Пётр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелёными листьями кретоном. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещей и мебели), вдова зацепилась чёрным кружевом чёрной мантилий за резьбу стола. Пётр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобождённый под ним пуф стал волноваться и подталкивать его.

Вдова сама стала отцеплять своё кружево, и Пётр Иванович опять сел, придавив бунтовавший под ним пуф. Но вдова не всё отцепила, и Пётр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щёлкнул. Когда всё это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись.

“Come while it hasn’t started yet; I must talk with you,” said the widow. “Give me your arm.”

Pyotr Ivanovich offered her his arm, and they went to the inner rooms, past Schwartz, who winked mournfully at Pyotr Ivanovich: “There goes our vint! Don’t complain if we take another partner. Unless you join us as a fifth when you get free,” said his playful glance.

Pyotr Ivanovich sighed still more deeply and mournfully, and Praskovya Fyodorovna gratefully pressed his arm. Having gone into her drawing room, upholstered in pink cretonne and with a sullen lamp, they sat by the table, she on the sofa, Pyotr Ivanovich on a low pouf with bad springs that gave way erratically under his weight. Praskovya Fyodorovna wanted to warn him that he should sit on another chair, but she found such a warning inconsistent with her position and changed her mind.

As he sat down on this pouf, Pyotr Ivanovich recalled how Ivan Ilyich had decorated this drawing room and had consulted him about this same cretonne, pink with green leaves. Passing by the table and sitting down on the sofa (generally the whole drawing room was filled with knickknacks and furniture), the widow caught the black lace of her black mantilla on the carving of the table. Pyotr Ivanovich got up to release it, and the pouf, freed from under him, roused itself and gave him a shove.

The widow began to release the lace herself, and Pyotr Ivanovich sat down again, crushing the rebellious pouf under him. But the widow did not release it completely, and Pyotr Ivanovich got up again, and again the pouf rebelled and even gave a snap. When all this was over, she took out a clean cambric handkerchief and began to cry. The episode with the lace and the struggle with the pouf cooled Pyotr Ivanovich down, and he sat scowling.

## The Death of Ivan Ilyich

Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Фёдоровна, будет стоить двести рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Пётр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Пётр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушёл.

— Я всё сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это — заботы о нём же. — Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:

— Однако у меня дело есть к вам.

Пётр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Пётр Иванович.

This awkward situation was interrupted by Sokolov, Ivan Ilyich's butler, with the report that the plot in the cemetery chosen by Praskovya Fyodorovna would cost two hundred roubles. She stopped crying and, glancing at Pyotr Ivanovich with the air of a victim, said in French that it was very hard for her. Pyotr Ivanovich made a silent gesture expressing the unquestionable conviction that it could not be otherwise.

"Smoke, please," she said in a magnanimous and at the same time brokenhearted voice, and she began to discuss the question of the price of the plot with Sokolov. Pyotr Ivanovich, lighting up, heard her asking in great detail about the prices of various plots and determining which should be taken. Besides that, having finished about the plot, she also gave orders about the choir. Sokolov left.

"I do everything myself," she said to Pyotr Ivanovich, pushing aside the albums that lay on the table; and, noticing that the table was threatened with ashes, she promptly moved an ashtray for Pyotr Ivanovich and said: "I find it false to claim that grief prevents me from concerning myself with practical matters. On the contrary, if anything can, not comfort ... but distract me, it is my troubles over him." She took out her handkerchief again as if she was about to cry, but suddenly, as if overcoming herself, gave a shake and began to speak calmly:

"However, I have business with you."

Pyotr Ivanovich bowed, not allowing the springs of the pouf, which at once began stirring under him, to act up.

"During the last days he suffered terribly."

"He suffered very much?" asked Pyotr Ivanovich.

## Смерть Ивана Ильича

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голоса, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Пётр Иванович.

— Да, — прошептала она, — до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и ещё просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала весёлым мальчиком, школьником, потом взрослым партнёром, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидел опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддаётся мрачному настроению, чего не следует делать, как это, очевидно было по лицу Шварца.

И, сделав это рассуждение, Пётр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

“Ah, terribly! The last, not minutes, but hours, he didn’t stop screaming. For three days in a row he screamed incessantly. It was unbearable. I can’t understand how I endured it. It could be heard through three doors. Ah! what I’ve endured!”

“And can it be that he was conscious?” asked Pyotr Ivanovich.

“Yes,” she whispered, “till the last moment. He said farewell to us a quarter of an hour before he died, and also asked that Volodya be taken away.”

The thought of the suffering of a man he had known so closely, first as a merry boy, a schoolmate, then as an adult colleague, despite the unpleasant awareness of his own and this woman’s falsity, suddenly terrified Pyotr Ivanovich. He again saw that forehead, the nose pressing on the upper lip, and he felt afraid for himself.

“Three days of terrible suffering and then death. Why, that could come for me, too, right now, any minute,” he thought, and he was momentarily afraid. But at once, he did not know how himself, the usual thought came to his aid, that this had happened to Ivan Ilyich and not to him, and that it should and could not happen to him, that in thinking so he had succumbed to a gloomy mood, which ought not to be done, as was obvious from Schwartz’s face.

And having reasoned thus, Pyotr Ivanovich calmed down and began asking with interest about the details of Ivan Ilyich’s end, as if death was an occurrence proper only to Ivan Ilyich, but not at all to him.

## The Death of Ivan Ilyich

После разных разговоров о подробностях действительно, ужасных физических страданий, перенесённых Иваном Ильичом (подробности эти узнавал Пётр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Фёдоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Пётр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.

Пётр Иванович вздыхал, и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:

— Поверьте... — и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, её главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсии: но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: всё то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть ещё побольше денег.

Пётр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скарденность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошёл в переднюю.

After various discussions of the details of the truly terrible physical sufferings endured by Ivan Ilyich (these details Pyotr Ivanovich learned only by the effect of Ivan Ilyich's sufferings on Praskovya Fyodorovna's nerves), the widow evidently found it necessary to proceed to business.

"Ah, Pyotr Ivanovich, it's so hard, so terribly hard, so terribly hard," and she began to cry again.

Pyotr Ivanovich sighed and waited while she blew her nose. When she finished blowing her nose, he said:

"Believe me ..." and again she fell to talking and told him what was evidently her main business with him; this business consisted in the question of how to obtain money from the treasury on the occasion of her husband's death. She made it seem that she was asking Pyotr Ivanovich's advice about a pension; but he saw that she already knew in the minutest detail things that he did not know, such as all that could be squeezed out of the treasury on the occasion of this death; but that she would like to find out whether it was not possible somehow to squeeze out more.

Pyotr Ivanovich tried to think up some way, but, having thought a little and, for decency's sake, having scolded our government for its stinginess, he said it seemed that more was impossible. Then she sighed and obviously began thinking up some way to get rid of her visitor. He understood that, put out his cigarette, got up, pressed her hand, and went to the front hall.

## Смерть Ивана Ильича

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке, [на распродаже старинных вещей.] Пётр Иванович встретил священника и ещё несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидел знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в чёрном. Талия её, очень тонкая, казалась ещё тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чём-то виноват.

За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, её жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Пётр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать—четырнадцать лет.

Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Пётр Иванович кивнул ему головой и вошёл в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слёзы, всхлипыванья. Пётр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал её.

— Что, брат Герасим? — сказал Пётр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?

In the dining room with the clock that Ivan Ilyich was so happy to have bought in an antiques shop, Pyotr Ivanovich met a priest and several more acquaintances who had come for the service, and noticed a beautiful young lady of his acquaintance, Ivan Ilyich's daughter. She was all in black. Her waist, which was very slender, seemed more slender still. She had a gloomy, resolute, almost wrathful look. She bowed to Pyotr Ivanovich as if he were to blame for something.

Behind the daughter, with the same offended look, stood a rich young man of Pyotr Ivanovich's acquaintance, an examining magistrate, her fiancé as he had heard. He bowed to them dolefully and was about to go into the dead man's room, when from under the stairs appeared the little figure of Ivan Ilyich's schoolboy son, who looked terribly like him. He was a little Ivan Ilyich, as Pyotr Ivanovich remembered him from law school. His eyes were tearful and such as are found in impure boys of thirteen or fourteen.

The boy, noticing Pyotr Ivanovich, began to scowl sternly and bashfully. Pyotr Ivanovich nodded to him and went into the dead man's room. The service began—candles, moans, incense, tears, sobs. Pyotr Ivanovich stood frowning, looking at the feet in front of him. He did not glance once at the dead man and throughout did not succumb to weakening influences and was one of the first to leave. There was no one in the front hall. Gerasim, the butler's helper, sprang out of the dead man's room, rummaged with his strong hands through all the fur coats to find Pyotr Ivanovich's coat, and held it for him.

"Well, brother Gerasim?" said Pyotr Ivanovich, just to say something. "A pity, isn't it?"

## The Death of Ivan Ilyich

— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему ещё сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно былодохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду ещё к Фёдору Васильевичу.

И Пётр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.

||

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они всё-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

“It’s God’s will. We’ll all come to it some day,” said Gerasim, baring his white, even row of muzhik’s teeth, and, like a man in the heat of hard work, briskly opened the door, hailed the coachman, helped Pyotr Ivanovich in, and sprang back to the porch, as if thinking about what else he might do.

Pyotr Ivanovich found it especially pleasant to breathe fresh air after the smell of incense, corpse, and carbolic acid.

“Where to?” asked the coachman.

“It’s not late. I can still go to Fyodor Vassilievich’s.”

And Pyotr Ivanovich went. And indeed he found them at the end of the first rubber, so that it was timely for him to step in as a fifth.

||

The past history of Ivan Ilyich’s life was most simple and ordinary and most terrible.

Ivan Ilyich died at the age of forty-five, a member of the Court of Law. He was the son of an official who had made a career in Petersburg in various ministries and departments, of the sort that brings people to a position in which, though it becomes clear that they are unfit to perform any sort of substantial duties, still, because of their long past service and rank, they cannot be dismissed, and therefore they receive invented, fictitious posts and non-fictitious thousands, from six to ten, on which they live to a ripe old age.

Such was the privy councillor, the unnecessary member of various unnecessary institutions, Ilya Yefimovich Golovin.

## Смерть Ивана Ильича

У него было три сына, Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жёны не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть.

Иван Ильич был *le phénix de la famille*, [гордость семьи] как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении.

Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал всё то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приёмы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения.

Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но всё в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

He had three sons. Ivan Ilyich was the second son. The eldest had made the same sort of career as his father, only in a different ministry, and was already drawing near that age in the service at which this salaried inertia is attained. The third son was a failure. He had spoiled things for himself in various places and was now serving with the railways; his father and brothers, and especially their wives, not only did not like meeting him, but, unless from the utmost necessity, did not even remember his existence. The sister was married to Baron Greff, the same sort of Petersburg official as his father-in-law.

Ivan Ilyich was *le phénix de la famille*, as they said. He was not as cold and meticulous as the elder and not as desperate as the younger. He was between the two—an intelligent, lively, pleasant, and decent man. He was educated together with his younger brother in law school.

The younger brother did not finish and was expelled from the fifth class. Ivan Ilyich finished his studies successfully. In law school he was already what he would be throughout his later life: a capable man, cheerfully good-natured and gregarious, but strict in fulfilling what he considered his duty; and he considered his duty all that was so considered by highly placed people. He was not ingratiating, either as a boy or later as an adult, but, from the earliest age he had had this quality of being drawn, as a fly is to light, to the most highly placed people in society, of adopting their manners, their views of life, and of establishing friendly relations with them.

All the passions of childhood and youth went by without leaving big traces on him; he had been given to sensuality and vanity and—towards the end, in the upper classes—to liberalism, but it was all within certain limits, which were correctly pointed out to him by his instinct.

## The Death of Ivan Ilyich

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе, в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчился воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: «respice finem» [предвидь конец], простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельём, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же лёгкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к лёгкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и bon enfant, [добрый малый] как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

In law school he had committed acts which had formerly seemed to him of great vileness and had inspired a feeling of self-loathing in him at the time he committed them; but subsequently, seeing that such acts were also committed by highly placed people and were not considered bad, he, without really thinking them good, forgot all about them and was not troubled in the least by the memory of them.

On leaving law school in the tenth rank and receiving money from his father to outfit himself, Ivan ordered clothes from Charmeur, hung a little medal on his watch chain inscribed respice finem, took his leave of prince and tutor, dined with his schoolmates at Donon's, and with a fashionable new trunk, linen, clothes, shaving and toiletry kits, and a plaid, ordered and purchased at the very best shops, left for the provinces to take a post as official on special missions for the governor, which his father had procured for him.

In the provinces Ivan Ilyich immediately arranged as easy and pleasant a situation for himself as his situation in law school had been. He served, made his career, and at the same time amused himself pleasantly and decently; from time to time his superiors sent him on missions to various districts, and he behaved himself with dignity with both those above him and those beneath him, and with precision and incorruptible honesty, which he could not but be proud of, he carried out the missions he was charged with, mostly to do with the Old Believers.

In matters of service, despite his youth and inclination for light merriment, he was extremely restrained, official, and even stern; but socially he was often playful and witty, and always good-natured, decent, and bon enfant, as his superior and his wife, with whom he was like one of the family, used to say of him.



## Смерть Ивана Ильича

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведе; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но всё это носило на себе такой высокий тон порядочности, что всё это не могло быть называемо дурными словами: всё это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe*. [молодость должна перебеситься] Всё происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut*'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя.

There was a liaison in the provinces with one of the ladies who fastened upon the foppish lawyer; there was also a milliner; there were drinking parties with traveling imperial adjutants, and little trips to a remote back street after supper; there was also subservience to his superior and even to the superior's wife; but it all bore such a lofty tone of propriety that it could not be called by any bad words: it all merely fell under the rubric of the French saying: *Il faut que jeunesse se passe*. It was all done with clean hands, in clean shirts, with French words, and above all in the highest society, consequently with the approval of highly placed people.

So Ivan Ilyich served for five years, and then came changes in the service. New legal institutions appeared; new people were needed.

And Ivan Ilyich became this new man.

Ivan Ilyich was offered a post as examining magistrate, and Ivan Ilyich accepted it, though this post was in another province and he had to abandon the relations he had established and establish new ones. Ivan Ilyich's friends saw him off, had a group photograph taken, offered him a silver cigarette case, and he left for his new post.

As an examining magistrate, Ivan Ilyich was just as *comme il faut*, decent, capable of separating his duties from his private life and of inspiring general respect as he had been as an official on special missions. The work of an examining magistrate was itself far more interesting and attractive for Ivan Ilyich than his previous work.

## The Death of Ivan Ilyich

В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приёма просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало.

Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения её; но сознание этой власти и возможность смягчать её составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы.

В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил приём отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года

In his previous work, he had found it pleasant to walk at an easy pace, in an undress uniform from Charmeur's, past trembling petitioners waiting to be received and officials envious of him, straight to the superior's office, and sit down with him for tea and a cigarette; but there had been few people directly dependent on his will. Of such people there had been only police officers and Old Believers, when he was sent on special missions; and he had liked to treat such people, who were dependent on him, courteously, almost in a comradely fashion, had liked to let them feel that here was he, who had the power to crush them, treating them in a simple, friendly way. There had been few such people then.

Now, though, as an examining magistrate, Ivan Ilyich felt that everyone, everyone without exception, the most important, the most self-satisfied people—everyone was in his hands, and he needed only to write certain words on paper with a letterhead, and this important, self-satisfied man would be brought to him as an accused person or a witness, and, if he was not of a mind to let him sit down, the man would stand before him and answer his questions. Ivan Ilyich never misused this power of his; on the contrary, he tried to soften its expression; but for him the consciousness of this power and the possibility of softening it constituted the main interest and attraction of his new work.

In that work itself, namely in examinations, Ivan Ilyich very quickly adopted the method of pushing away from himself all circumstances not concerned with service, and investing even the most complicated case in such a form that, on paper, the case was reflected only in its external aspects and his personal views were entirely excluded, and, above all, the required formality was fully observed. This was a new thing. And he was one of the first people to work out the practical application of the statutes of 1864.

## Смерть Ивана Ильича

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя, в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон лёгкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Фёдоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, лёгкие отношения с Прасковьей Фёдоровной.

Having moved to a new town in the post of examining magistrate, Ivan Ilyich made new acquaintances, connections, behaved in a new way, and adopted a somewhat different tone. He placed himself at a certain dignified remove from the provincial authorities, but chose the best circle of magistrates and rich nobility living in the town, and adopted a tone of slight dissatisfaction with the government, moderate liberalism, and a civilized sense of citizenship. At the same time, without changing his elegant dress in the least, Ivan Ilyich, given his new duties, stopped shaving his chin and gave his beard the freedom to grow where it liked.

Ivan Ilyich's life came together very pleasantly in this new town as well: the society that cast aspersions at the governor was close-knit and agreeable; his salary was higher, and no little pleasure was added to his life by whist, which Ivan Ilyich began to play, having a capacity for playing cards cheerfully, for calculating quickly and subtly, so that generally he always came out the winner.

After two years of service in the new town, Ivan Ilyich met his future wife. Praskovya Fyodorovna Mikhel was the most attractive, intelligent, and brilliant girl of that circle in which Ivan Ilyich moved. Among other amusements and rests from his labors as a magistrate, Ivan Ilyich established light and playful relations with Praskovya Fyodorovna.

## The Death of Ivan Ilyich

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснётся танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Фёдоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Фёдоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определённого намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос: «В самом деле, отчего же и не жениться?» — сказал он себе.

Девушка Прасковья Фёдоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина.

Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашёл в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Ivan Ilyich, when an official on special missions, had generally danced; now, being an examining magistrate, he danced only as an exception. He now danced in the sense that, while belonging to the new institutions and of the fifth rank, if it comes to dancing, I can demonstrate that in that line I can do better than others. So, from time to time, at the end of an evening, he danced with Praskovya Fyodorovna, and it was mostly during that dancing that he won Praskovya Fyodorovna's heart. She fell in love with him. Ivan Ilyich had no clear, definite intention of marrying, but when the girl fell in love with him, he put the question to himself. "In fact, why not get married?" he said to himself.

Miss Praskovya Fyodorovna was of good noble stock and not bad looking; there was a bit of money. Ivan Ilyich might have counted on a more brilliant match, but this match was also good. Ivan Ilyich had his salary; she, he hoped, would have as much. A good family; she was a sweet, pretty, and perfectly respectable woman.

To say that Ivan Ilyich married because he loved his bride and found her sympathetic to his view of life would be as incorrect as to say that he married because people of his society approved of this match. Ivan Ilyich married out of both considerations: he did something pleasant for himself in acquiring such a wife, and at the same time he did what highly placed people considered right.

And so Ivan Ilyich got married.

## Смерть Ивана Ильича

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельём, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни лёгкой, приятной, весёлой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но ещё усугубит его.

Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжёлое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaieté de coeur*, [умышленно, нарочно] как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым лёгким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде, — он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям.

The process of marriage itself and the initial time of married life, with its conjugal caresses, new furniture, new dishes, new linen, went so well until his wife's pregnancy that Ivan Ilyich was already beginning to think that marriage not only would not disrupt that character of life—easy, pleasant, merry, and always decent and approved of by society—which Ivan Ilyich considered the very essence of life, but would even add to it.

But then, with the first months of his wife's pregnancy, there appeared something new, unanticipated, unpleasant, painful, and indecent, which it had been impossible to anticipate and which it was impossible to get rid of.

His wife, without any cause, as it seemed to Ivan Ilyich, *de gaieté de coeur*, as he said to himself, began to disrupt the pleasantness and decency of life: she became jealous over him without any reason, demanded that he court her, found fault with everything, and made unpleasant and crude scenes.

At first Ivan Ilyich hoped to free himself from the unpleasantness of this situation by that same easy and decent attitude towards life which had rescued him before—he tried to ignore his wife's state of mind and went on living as easily and pleasantly as before: invited friends to make up a game, tried to get away himself to the club or to see colleagues.

## The Death of Ivan Ilyich

Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял её требований, очевидно, твёрдо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений.

И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Фёдоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из неё обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребёнка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребёнка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала ещё более настоятельна.

По мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич всё более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжёлое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определённое отношение, как и к службе.

But one time his wife began to abuse him so energetically in crude terms, and so stubbornly went on abusing him each time he did not fulfill her demands, obviously firmly resolved not to stop until he submitted, that is, sat at home and was just as bored as she was, that Ivan Ilyich became terrified. He realized that marital life—at least with his wife—was not always conducive to the pleasantness and decency of life, but, on the contrary, often disrupted them, and that it was therefore necessary to protect himself against these disruptions.

And Ivan Ilyich began to search for ways of doing that. His work was the one thing that commanded Praskovya Fyodorovna's respect, and Ivan Ilyich, by means of his work and the duties it entailed, began to struggle with his wife, fencing off his independent world.

With the birth of the child, the attempts at nursing and various failures at it, with illnesses, real and imaginary, of the child and the mother, in which it was demanded that he participate, but in which he could understand nothing, Ivan Ilyich's need to fence off a world for himself outside the family became still more imperative.

As his wife became more irritable and demanding, Ivan Ilyich transferred the center of gravity of his life to his work. He came to like his work more and became more ambitious than he had been before.

Very soon, not more than a year after his marriage, Ivan Ilyich understood that marital life, while offering certain conveniences, was essentially a very complex and difficult affair, with regard to which, in order to fulfill one's duty, that is, to lead a decent life approved of by society, one had to work out a certain attitude, as one did to one's work.

## Смерть Ивана Ильича

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал весёлой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нём находил приятности.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог публичность речей; успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — всё это ещё более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась всё ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для её ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала ещё неприятнее для Ивана Ильича.

And Ivan Ilyich did work out such an attitude to marital life. He demanded of marital life only those comforts of dinner at home, housekeeping, bed, which it could give him, and, above all, that decency of external forms which was defined by public opinion. In the rest he sought a cheerful pleasantness, and if he found it, he was very grateful; if he met with resistance and peevishness, he at once retired to his own separate, fenced-off world of work and found pleasantness in it.

Ivan Ilyich was valued for his good service and three years later was appointed assistant prosecutor. The new duties, their importance, the possibility of calling anyone into court and putting him in jail, the public speeches, the success Ivan Ilyich had in these things—all this attracted him still more to his work.

Children came. His wife was growing more and more peevish and angry, but the attitude to domestic life worked out by Ivan Ilyich made him almost impervious to her peevishness.

After serving for seven years in the same town, Ivan Ilyich was transferred to the post of prosecutor in a different province. They moved, there was too little money, and his wife did not like the place they moved to. The salary was higher than previously, but life was more expensive; besides, two of the children died, and therefore family life became still more unpleasant for Ivan Ilyich.

## The Death of Ivan Ilyich

Прасковья Фёдоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюблённости, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаённой вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга.

Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью всей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы всё больше и больше освободить себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он всё меньше и меньше проводил время с семьёю, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать своё положение присутствием посторонних лиц.

Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчинёнными, успех свой перед высшими и подчинёнными и, главное, мастерство своё ведения дел, которое он чувствовал, — всё это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Praskovya Fyodorovna blamed her husband for all the misfortunes that occurred in this new place of living. Most of the subjects of conversation between husband and wife, especially the children's education, led to problems that were reminiscent of quarrels, and quarrels were ready to flare up at any moment. There remained only rare periods of amorousness that came over the spouses, but they did not last long. These were islands that they would land on temporarily, but then they would put out again to the sea of concealed enmity that expressed itself in estrangement from each other.

This estrangement might have upset Ivan Ilyich, if he had considered that it ought not to be so, but by now he took this situation not only as normal, but as the goal of his activity in the family. His goal consisted in freeing himself more and more from these unpleasantnesses and in giving them a character of harmlessness and decency; and he achieved it by spending less and less time with his family, and when he was forced to do so, he tried to secure his position by the presence of outsiders.

The main thing was that Ivan Ilyich had his work. The whole interest of life was concentrated for him in the world of his work. And this interest absorbed him. The consciousness of his power, the possibility of destroying any man he wanted to destroy, his importance, even externally, as he entered the court or met with subordinates, his success before his superiors and subordinates, and, above all, his skill in pleading cases, which he was aware of—all this was a cause for joy, and, along with friends, dinners, and whist, filled his life. So that generally the life of Ivan Ilyich continued to go as he thought it should go: pleasantly and decently.



## Смерть Ивана Ильича

Так прожил он ещё семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, ещё один ребёнок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Фёдоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

He lived that way for another seven years. The eldest daughter was already sixteen, one more child had died, and there remained the young schoolboy, a subject of contention. Ivan Ilyich wanted to send him to law school, but Praskovya Fyodorovna, to spite him, sent him to preparatory school. The daughter studied at home and was growing up nicely; the boy was also not a bad student.

## III

## III

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни.

So went Ivan Ilyich's life during the seventeen years following his marriage. He was already a seasoned prosecutor, who had turned down several transfers in expectation of a more desirable post, when a certain unpleasant circumstance unexpectedly occurred, which all but disrupted the tranquillity of his life.

Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперёд и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упрёки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Ivan Ilyich was expecting the post of presiding judge in a university town, but Hoppe somehow beat him out and got the post. Ivan Ilyich became irritated, reproached him, and quarreled with him and his immediate superior; he was treated with coldness and at the next promotions he was again passed over.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжёлый жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему.

That was in the year 1880. That year was the hardest of Ivan Ilyich's life. In that year it turned out, on the one hand, that his salary was not enough to live on; and on the other, that everyone had forgotten him, and that what seemed to him the greatest, cruelest injustice in his regard, others saw as a perfectly ordinary matter. Even his father did not consider it his duty to help him.

## The Death of Ivan Ilyich

Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, — он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Фёдоровны.

В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним; выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможи, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

He felt that everyone had abandoned him, considering his position with its 3,500-ruble salary as most normal and even fortunate. He alone knew that, with the consciousness of the injustice done him, with his wife's eternal carping, and with the debts he began to run up, living beyond his means —he alone knew that his position was far from normal.

In the summer of that year, to lighten his expenses, he took a vacation and went with his wife to spend the summer in the country with Praskovya Fyodorovna's brother.

In the country, without work, Ivan Ilyich felt for the first time not merely boredom, but an unbearable anguish, and he decided that it was impossible to live like that, and that it was necessary to take decisive measures.

Having spent a sleepless night, pacing the terrace the whole time, Ivan Ilyich decided to go to Petersburg to solicit for himself, and, so as to punish them for not knowing how to appreciate him, to transfer to another ministry.

The next day, despite all the attempts of his wife and brother-in-law to dissuade him, he went to Petersburg.

He went with one purpose: to solicit a post with a salary of five thousand. He no longer adhered to any ministry, tendency, or kind of activity. He only needed a post, a post with five thousand, in the administration, in a bank, in the railways, in the empress Maria's institutions, even in customs, but he had to have five thousand and to leave the ministry where they had not known how to appreciate him.

## Смерть Ивана Ильича

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдёт на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семёновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашёл Захара Ивановича и получил обещание верного места в своём прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене: «Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение».

Иван Ильич благодаря этой перемене лиц неожиданно получил в своём прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъёмных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на всё министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню весёлый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Фёдоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

And, lo and behold, this trip of Ivan Ilyich's was crowned with astonishing, unexpected success. In Kursk an acquaintance, F. S. Ilyin, seated himself in first class and told him about a fresh telegram received by the governor of Kursk saying that there was to be an upheaval in the ministry in a few days: Ivan Semyonovich was appointed to replace Pyotr Ivanovich.

The proposed upheaval, besides its significance for Russia, had a special significance for Ivan Ilyich in that, by bringing forward a new person, Pyotr Petrovich, and, obviously, his friend Zakhar Ivanovich, it was highly favorable for Ivan Ilyich. Zakhar Ivanovich was a colleague and friend of Ivan Ilyich.

In Moscow the news was confirmed. On arriving in Petersburg, Ivan Ilyich found Zakhar Ivanovich and received the firm promise of a post in his former Ministry of Justice.

A week later he sent a telegram to his wife: "Zakhar to replace Miller I get appointment in first memorandum."

Owing to this change of personnel, Ivan Ilyich unexpectedly received an appointment in his former ministry that placed him two steps higher than his old colleagues, with a salary of five thousand, and three thousand five hundred for moving expenses. All his vexation with his former enemies and the entire ministry was forgotten, and Ivan Ilyich was completely happy.

Ivan Ilyich returned to the country cheerful, content, as he had not been for a long time. Praskovya Fyodorovna also cheered up, and a truce was concluded between them. Ivan Ilyich told her how he had been fêted in Petersburg, how all those who had been his enemies were put to shame and now fawned on him, how they envied his post, and, particularly, how loved he was in Petersburg.

## The Death of Ivan Ilyich

Прасковья Фёдоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чём, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер весёлой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти всё из провинции, прикупить, приказать, ещё многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Фёдоровны.

И теперь, когда всё устроилось так удачно, и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и весёлое расположение духа, произведённое удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, всё время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чём мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приёмные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — всё как нарочно придумано для них.

Praskovya Fyodorovna listened to all this and pretended to believe it, and did not contradict him in anything, but only made plans for a new arrangement of life in the town they were moving to. And Ivan Ilyich was glad to see that those plans were his plans, that they agreed, and that his faltering life was again acquiring its true, natural character of cheerful pleasantness and decency.

Ivan Ilyich came for only a short time. On September 10th he had to take up his post, and, besides, he needed time to settle into a new place, to transport everything from the province, to buy, to order still more; in short, to arrange things as it had been decided in his mind, and almost exactly as it had been decided in Praskovya Fyodorovna's heart.

And now that everything had arranged itself so fortunately, and he and his wife agreed in their aims, and, besides that, lived together so little, they became such friends as they had not been since the first years of their married life. Ivan Ilyich had first thought of taking his family away at once, but his sister-in-law and her husband suddenly became so especially amiable and familial towards Ivan Ilyich and his family that, at their insistence, Ivan Ilyich left alone.

Ivan Ilyich left, and the cheerful state of mind produced by his success and his agreement with his wife, the one intensifying the other, stayed with him all the while. A charming apartment was found, exactly what the husband and wife were dreaming of. Vast, high-ceilinged reception rooms in the old style, a comfortable and grandiose study, rooms for his wife and daughter, a schoolroom for his son— everything as if purposely designed for them.

## Смерть Ивана Ильича

Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и всё росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет всё, когда будет готово.

Засыпая, он представлял себе залу, какую она будет. Глядя на гостиную, ещё не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял всё хуже, чем есть, чтобы поразить их.

Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины.

Ivan Ilyich himself took up the decoration, chose the wallpaper, bought furniture, especially antiques, which he had upholstered in an especially *comme il faut* style, and it all grew, grew and approached that ideal which he had formed for himself. When it was half done, the result exceeded his expectations. He perceived what a *comme il faut*, exquisite, and by no means banal character it would all take on when it was finished.

Falling asleep, he imagined how the reception room was going to be. Looking at the as yet unfinished drawing room, he already saw the fireplace, the screen, the whatnot, and those little chairs scattered around, those dishes and plates on the walls, and the bronzes, when they were all put in place. He rejoiced at the thought of how he would astonish Pasha and Lizanka, who also had a taste for these things. They would never expect it. In particular, he managed to find and buy cheaply antique objects that endowed everything with a particularly noble character. In his letters he deliberately presented everything as worse than it was, in order to astonish them.

All this occupied him so much that even his new duties, fond as he was of the work, occupied him less than he had expected. During sessions he had moments of distraction: he was pondering what sort of cornices to have for the curtains, straight or festooned. He was so taken up with it that he often pottered about himself, even moved furniture and rehung curtains himself.

## The Death of Ivan Ilyich

Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошёл — Иван Ильич чувствовал себя всё это время особенно весёлым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, чёрное дерево, цветы, ковры и бронзы. Тёмное и блестящее, — всё то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему всё это казалось чем-то особенным.

Когда он встретил своих на станции железной дороги, привёз их в свою освещённую готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счастлив, водил их везде, вливал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Фёдоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

Once he climbed a ladder to show the uncomprehending upholsterer how he wanted the drapery done, missed his footing, and fell, but, being a strong and agile man, held on and only bumped his side on the knob of the window frame. The bruised place ached for a while, but soon stopped. All this time Ivan Ilyich felt especially cheerful and healthy. He wrote: "I feel as if I've shaken off fifteen years." He hoped to finish in September, but it took until the middle of October. The result was charming—as not only he said, but all those who saw it said to him.

Essentially, though, it was the same as with all people who are not exactly rich, but who want to resemble the rich, and for that reason only resemble each other: damasks, ebony, flowers, carpets, and bronzes, dark and gleaming—all that all people of a certain kind acquire in order to resemble all people of a certain kind. And in his case the resemblance was such that it was even impossible for it to attract attention; but to him it all seemed something special.

When he met his family at the railway station, brought them to his brightly lit, finished apartment, and a footman in a white tie opened the door to the flower-decked front hall, and they then went on to the drawing room, the study, and gasped with pleasure—he was very happy, showed them all around, drank in their praises, and beamed with pleasure. That same evening, over tea, when Praskovya Fyodorovna asked him, among other things, how he had fallen, he laughed and acted out how he had gone flying and frightened the upholsterer.

"It's not for nothing I'm a gymnast. Another man might have been badly hurt, but I just got a slight knock here; it hurts when you touch it, but it's already going away; a simple bruise."

## Смерть Ивана Ильича

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда ещё не всё было устроено и надо было ещё устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить.

Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны итак много было дела, что всё кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично.

Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всём этом надо было уметь исключать всё то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные.

And they began to live in their new lodgings, in which, as always, once they had settled nicely, there was just one room lacking, and on their new means, which, as always, were lacking just a little—some five hundred roubles—and it was very nice. Especially nice was the initial time, when all was not arranged yet and still needed arranging: this to buy, that to order, this to move, that to adjust.

Though there were some disagreements between husband and wife, they were both so content and there was so much to do that it all ended without any big quarrels. When there was nothing more to arrange, it became slightly boring and lacking in something, but by then they were making acquaintances, habits, and life became full.

Ivan Ilyich, having spent the morning in court, would come home for dinner, and in the initial time his state of mind was good, though it did suffer slightly on account of the lodgings. (Each spot on the tablecloth, on the damask, a torn-out curtain pull, annoyed him: he had put so much labor into arranging it that any damage was painful to him.) But in general Ivan Ilyich's life went on as he believed life ought to go: easily, pleasantly, and decently.

He got up at nine, had coffee, read the newspaper, then put on his uniform and went to court. There the yoke in which he worked was already broken in; he fell into it at once. The petitioners, the inquiries in the chancery, the chancery itself, the court sessions—public and administrative. In all this one had to know how to exclude all that was raw, vital—which always disrupts the regular flow of official business; one had to allow no relations with people apart from official ones, and the cause of the relations must be only official and the relations themselves only official.

## The Death of Ivan Ilyich

Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь, Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает всё, всё решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое.

Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая её с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое.

Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчётливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой.

For instance, a man comes and wishes to find something out. As an unofficial man Ivan Ilyich can have no relations with such a man; but if there are relations with this man as a colleague, such as can be expressed on paper with a letterhead, then within the limits of those relations Ivan Ilyich does everything, decidedly everything he can, and with that observes a semblance of friendly human relations, that is, of politeness. As soon as the official relations are ended, all others are ended as well.

This skill in separating the official side, not mixing it with his real life, Ivan Ilyich had mastered in the highest degree and through long practice and talent had developed to such a degree that, like a virtuoso, he sometimes allowed himself, as if jokingly, to mix human and official relations. He allowed himself that because he felt himself always capable of separating the official when he needed to and of discarding the human.

For Ivan Ilyich this business went not only easily, pleasantly, and decently, but even with virtuosity. During recesses he smoked, drank tea, conversed a little about politics, a little about general matters, a little about cards, and most of all about promotions. And, weary, but with the feeling of a virtuoso who has given a perfect performance of his part as one of the first violins in the orchestra, he returned home.



## Смерть Ивана Ильича

Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Всё было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, — сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт: но если не было винта — то это было всё-таки лучше, чем сидеть одному или с женой.

Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и всё было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Фёдоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять всё у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счёт кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Фёдоровна сказала ему: «Дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе.

Но самый вечер был весёлый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты моё горе».

At home, the daughter and mother had been out somewhere or had someone else with them; the son had been to school, had prepared his lessons with his tutors, and was diligently studying what they teach in school. All was well. After dinner, if there were no visitors, Ivan Ilyich sometimes read a book which was being much talked about, and in the evening he sat down to work, that is, read papers, consulted the laws—compared testimony and applied the laws to it. For him this was neither boring nor amusing. It was boring when there might have been a game of vint; but if there was no vint, it was still better than sitting alone or with his wife.

But Ivan Ilyich's real pleasure was in little dinners, to which he invited ladies and gentlemen of important social position and passed the time with them similarly to the way such people usually pass the time, just as his drawing room was similar to all other drawing rooms.

Once they even had a soirée with dancing. And Ivan Ilyich was merry, and everything was nice, only a big quarrel broke out with his wife over the cakes and sweets. Praskovya Fyodorovna had her own plan, but Ivan Ilyich insisted on buying everything from an expensive pastry shop, and he bought a lot of cakes, and the quarrel was about the fact that there were cakes left over and the bill from the pastry shop was for forty-five roubles. The quarrel was big and unpleasant, and Praskovya Fyodorovna called him "fool" and "slouch." And he clutched his head and angrily said something about divorce.

But the soirée itself was merry. The best society was there, and Ivan Ilyich danced with Princess Trufonov, the sister of the one famous for founding the society "Quench Thou My Grief."

## The Death of Ivan Ilyich

Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьёзную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди, и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее.

Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Фёдоровной: не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И всё шло так, не изменяясь, и всё было очень хорошо.

The official joys were the joys of self-esteem; the social joys were the joys of vainglory; but Ivan Ilyich's real joys were the joys of playing vint. He admitted that after anything, after whatever joyless events there might be in his life, the joy which, like a candle, burned before all others—was to sit down to vint with good players and soft-spoken partners, a foursome without fail (with a fivesome it was very painful to sit out, though one always pretended to like it), and to carry on an intelligent, serious game (when the cards came your way), then have supper and drink a glass of wine. And Ivan Ilyich went to bed in an especially good humor after vint, especially when he had won a little (to win a lot was unpleasant).

So they lived. The social circle that formed around them was of the best sort; they were visited by important people and by young people.

In their view of the circle of their acquaintances, husband, wife, and daughter agreed completely and, without prearrangement, in the same way fended off and freed themselves from various friends and relations, ragtag people, who came flying with tender feelings to their drawing room with the Japanese dishes on the walls. Soon these ragtag friends stopped flying, and the Golovins remained surrounded by only the best society.

Young men courted Lizanka, and Petrishchev, the son of Dmitri Ivanovich Petrishchev and sole heir to his fortune, an examining magistrate, began courting Liza, so that Ivan Ilyich even mentioned it to Praskovya Fyodorovna: perhaps they should arrange a ride together in a troika, or organize theatricals. So they lived. And it all went on like this without change, and it was all very well.

## IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль ещё, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, всё усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность лёгкой и приличной жизни.

Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала лёгкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Фёдоровна теперь не без основания говорила, что у её мужа тяжёлый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно её доброту, чтобы переносить это двадцать лет.

Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всём он обвинял Прасковью Фёдоровну.

## IV

They were all in good health. It could not be called ill health that Ivan Ilyich sometimes said he had a strange taste in his mouth and some discomfort on the left side of his stomach.

But it so happened that this discomfort began to increase and turn, not into pain yet, but into the consciousness of a constant heaviness in his side and into ill humor. This ill humor, growing stronger and stronger, began to spoil the pleasantness of the easy and decent life that had just been established in the Golovin family.

The husband and wife began to quarrel more and more often, and soon the ease and pleasantness fell away, and decency alone was maintained with difficulty. Scenes again became frequent. Again only little islands were left, and few of them, where the husband and wife could come together without an explosion.

And now Praskovya Fyodorovna could say, not without grounds, that her husband had a difficult character. With the habit of exaggeration typical of her, she said that he had always had a terrible character, and it had needed all her goodness to put up with it for twenty years.

It was true that the quarrels now began with him. His carping always began just before dinner and often precisely as he was beginning to eat, over the soup. He would point out that something was wrong with one of the plates, or that the food was not right, or that his son had his elbow on the table, or it was his daughter's hairstyle. And he blamed Praskovya Fyodorovna for it all.

## The Death of Ivan Ilyich

Прасковья Фёдоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он два раза во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нём принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать.

Смирение своё Прасковья Фёдоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж её имеет ужасный характер и сделал несчастье её жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа.

Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это ещё более раздражало её против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти её, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение её усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Всё было, как он ожидал; всё было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определённые вперёд и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы всё устроим, — у нас известно и несомненно, как всё устроить, всё одним манером для всякого человека, какого хотите. Всё было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

At first Praskovya Fyodorovna protested and said unpleasant things to him, but twice at the start of dinner he flew into such a rage that she realized it was a morbid condition provoked in him by the taking of food, and she restrained herself; she no longer protested, but only hurried with dinner.

Her restraint Praskovya Fyodorovna set down to her own great credit. Having decided that her husband had a terrible character and made her life miserable, she began to pity herself. And the more she pitied herself, the more she hated her husband.

She began to wish for his death, yet she could not wish for it, because then there would be no salary. And that irritated her against him still more. She considered herself dreadfully wretched precisely in that even his death could not save her, and she became irritated, concealed it, and this concealed irritation of hers increased his irritation.

After one scene in which Ivan Ilyich was particularly unfair and after which, talking it over with her, he said that he was in fact irritable, but that it was from illness, she told him that, if he was ill, he ought to be treated, and demanded that he go to a famous doctor.

He went. It was all as he expected; it was all as it is always done. The waiting, and the assumed doctorly importance familiar to him, the same that he knew in himself in court, and the tapping, and the auscultation, and the questions calling for predetermined and obviously unnecessary answers, and the significant air, which suggested that you just submit to us, and we will arrange it all — we know indubitably how to arrange it all, all in the same way as for anybody you like. It was all exactly the same as in court. As he put on airs before the accused in court, so the famous doctor put on airs before him.

## Смерть Ивана Ильича

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д.

Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешивание вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено.

Всё это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал своё резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого.

Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем всё равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нём чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..

The doctor said: Such-and-such indicates that there is such-and-such inside you; but if that is not confirmed by the analysis of this-and-that, then it must be assumed that you have such-and-such. If we presume such-and-such, then ... and so on.

For Ivan Ilyich only one question mattered: was his condition dangerous or not? But the doctor ignored this inappropriate question. From the doctor's point of view it was an idle question and not to be discussed; there existed only the weighing of probabilities—a floating kidney, chronic catarrh, or appendicitis. It was not a question of Ivan Ilyich's life, but an argument between a floating kidney and the appendix. And before Ivan Ilyich's very eyes the doctor resolved this argument most brilliantly in favor of the appendix, with the reservation that the urine analysis might give new evidence and the case would then be reconsidered.

All this was just exactly what Ivan Ilyich himself had performed as brilliantly a thousand times over the accused. The doctor performed his summing up just as brilliantly, and triumphantly, even merrily, glanced over his spectacles at the accused.

From the doctor's summing up, Ivan Ilyich drew the conclusion that things were bad, and that for him, the doctor, and for anyone else you like, it was all the same, but for him things were bad. And this conclusion struck Ivan Ilyich painfully, calling up in him a feeling of great pity for himself and great anger at this doctor, who was indifferent to such an important question.

But he said nothing, got up, put money on the table, and sighed.

"We sick people probably often ask you inappropriate questions," he said. "But, generally, is it a dangerous illness or not? ..."

## The Death of Ivan Ilyich

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принуждён сделать распоряжение об удалении вас из зала заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал всё, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или ещё ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо.

Всё грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьёзное значение. Иван Ильич с новым тяжёлым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада, — сказала жена, — так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. — И она пошла одеваться.

Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

The doctor glanced at him sternly with one eye through his spectacles, as if to say: Accused, if you do not keep within the limits of the questions put to you, I will be forced to order you removed from the court.

“I’ve already told you what I consider necessary and appropriate,” said the doctor. “The analysis will give further evidence.” And the doctor bowed.

Ivan Ilyich went out slowly, climbed dejectedly into the sleigh, and drove home. On the way he kept going over what the doctor had said, trying to translate all those complicated, vague scientific terms into simple language and read in them the answer to the question: bad—is it very bad for me, or still all right? And it seemed to him that the sense of everything the doctor had said was that it was very bad.

Everything seemed sad to Ivan Ilyich in the streets. The cabbies were sad, the houses were sad, the passersby and the shops were sad. And that pain, the obscure, gnawing pain, which did not cease for a moment, seemed to have acquired, in connection with the doctor’s vague words, a different, more serious meaning. With a new, heavy feeling Ivan Ilyich now paid heed to it.

He came home and started telling his wife. His wife listened, but in the middle of his account his daughter came in with her hat on: she and her mother were going somewhere. She forced herself to sit down and listen to this boredom, but could not stand it for long, and the mother did not hear him out.

“Well, I’m very glad,” said his wife, “so now see to it that you take your medicine regularly. Give me the prescription, I’ll send Gerasim to the pharmacy.” And she went to get dressed.

He could not breathe freely while she was in the room and sighed heavily when she left.

## Смерть Ивана Ильича

— Ну что ж, — сказал он. — Может быть, и точно ничего ещё.

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич всё-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашёл утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принятия лекарств и прислушивание к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нём говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть своё волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние.

Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность...

“Oh, well,” he said. “Maybe in fact it’s all right ...”

He began to take medicines, following the doctor’s prescriptions, which were changed on account of the urine analysis. But then it just so happened that, in this analysis and in what should have followed from it, there was some sort of confusion. It was impossible to reach the doctor himself, and meanwhile what was being done was not what the doctor had said to him. He either forgot, or lied, or was hiding something from him.

But all the same Ivan Ilyich started following the prescriptions precisely and in following them found comfort at first.

Ivan Ilyich’s main occupation since the time of his visit to the doctor became the precise following of the doctor’s prescriptions concerning hygiene and the taking of medicines, and paying heed to his pain and to all the functions of his organism. People’s illness and people’s health became Ivan Ilyich’s main interests. When there was talk in his presence of someone being ill, or dying, or recovering, especially of an illness similiar to his own, he listened, trying to conceal his excitement, asked questions, and made applications to his illness.

The pain did not diminish; but Ivan Ilyich tried to make himself think that he was better. And he could deceive himself as long as nothing worried him. But as soon as there was some unpleasantness with his wife, a setback at work, or bad cards at vint, he immediately felt the whole force of his illness; he used to endure these setbacks, expecting to quickly right the wrong, to overcome it, to achieve success, a grand slam. But now any setback undercut him and threw him into despair.

He said to himself: I was just getting better, and the medicine was beginning to work, and here’s this cursed misfortune or unpleasantness ...

## The Death of Ivan Ilyich

И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от неё. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение.

Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идёт к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича.

Пряатель его приятеля — доктор очень хороший — тот ещё совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями ещё больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение.

Гомеопат — ещё иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечением и к этому, пришёл в ещё большее уныние.

And he became angry at the misfortune or at the people who had caused him the unpleasantness and were killing him; and he felt how this anger was killing him, but he could not repress it. It seems it ought to have been clear to him that this anger at circumstances and at people was aggravating his illness, and that therefore he should not pay attention to unpleasant occasions; but his reasoning was quite the opposite: he said that he needed peace, looked out for anything that might disturb that peace, and at the slightest disturbance became irritated.

His condition was also made worse by his reading of medical books and consulting of doctors. The worsening went on so gradually that he could deceive himself comparing one day with another—the difference was so slight. But when he consulted doctors, it seemed to him that it was getting worse and even very quickly. And despite that, he constantly consulted doctors.

That month he visited yet another celebrity: the other celebrity said almost the same thing as the first, but put his questions differently. And the consultation with this celebrity only increased Ivan Ilyich's doubt and fear.

The friend of a friend of his—a very good doctor—defined the illness in quite another way still and, though he promised recovery, his questions and conjectures confused Ivan Ilyich still more and increased his doubts.

A homeopath defined the illness in still another way and gave him medicine, and Ivan Ilyich, in secret from everyone, took it for a week. But after a week, feeling no relief and losing confidence both in the former treatments and in this one, he fell into still greater dejection.



## Смерть Ивана Ильича

Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Всё вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..»

Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку всё томила, всё как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился всё страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы всё слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нём.

И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что всё на свете идёт по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича.

Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, — он, видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невесёлый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое:

Once a lady acquaintance told about healing with icons. Ivan Ilyich caught himself listening attentively and believing in the reality of the fact. This occasion frightened him. “Can I have grown so mentally feeble?” he said to himself. “Nonsense! It’s all rubbish, I mustn’t give way to anxieties, but choose one doctor and keep strictly to his treatment. That’s what I’ll do. It’s over now. I won’t think, and I’ll strictly follow the treatment till summer. Then we’ll see. These vacillations are over now! ...”

That was easy to say, but impossible to do. The pain in his side kept gnawing at him, seemed to be increasing, becoming constant; the taste in his mouth kept becoming stranger; it seemed to him that his mouth gave off a disgusting smell, and his appetite and strength kept weakening. It was impossible to deceive himself: something dreadful, new, and so significant that nothing more significant had ever happened in his life, was being accomplished in Ivan Ilyich.

And he alone knew of it. Everyone around him either did not understand or did not want to understand and thought that everything in the world was going on as before. This was what tormented Ivan Ilyich most of all.

He saw that his household—mainly his wife and daughter, who were in the very heat of social life—did not understand anything, were vexed that he was so cheerless and demanding, as if he was to blame for it. Though they tried to conceal it, he saw that he was a hindrance to them, but that his wife had worked out for herself a certain attitude towards his illness and held to it regardless of what he said and did. This attitude was the following:

## The Death of Ivan Ilyich

— Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет; завтра вдруг, если я посмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.

— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою. — Один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Всё равно я не мог спать от боли...

— Да там уже отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Фёдоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у неё невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нём и не переставая сосёт его и неудержимо влечёт куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и коммифотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

“You know,” she would say to acquaintances, “Ivan Ilyich cannot keep strictly to the treatment he’s prescribed, as all good people do. Today he takes his drops and eats what he’s been told to and goes to bed on time; tomorrow suddenly, if I don’t look out, he forgets to take them, eats sturgeon (which is forbidden), and stays up till one o’clock playing vint.”

“Well, when was that?” Ivan Ilyich would ask with vexation. “Once at Pyotr Ivanovich’s.”

“And last night with Shebek.”

“Anyway I couldn’t sleep from pain.”

“Whatever the reasons, you’ll never get well like this, and you’re tormenting us.”

Praskovya Fyodorovna’s external attitude to her husband’s illness, which she voiced to others and to him, was that Ivan Ilyich himself was to blame for the illness and that this whole illness was a new unpleasantness he was causing his wife. Ivan Ilyich felt that this came from her involuntarily, but that did not make it easier for him.

In court Ivan Ilyich noticed or thought he noticed the same strange attitude towards himself: now it seemed to him that he was being eyed like someone who would soon have to vacate his post; now his colleagues suddenly began to joke in friendly fashion about his anxieties, as if that terrible and dreadful unheard-of thing that was sitting in him and ceaselessly gnawing at him and inexorably drawing him somewhere was a most pleasant subject for jokes. Schwartz especially irritated him with his playfulness, vitality, and comme il faut-ishness, which reminded Ivan Ilyich of himself ten years ago.

## Смерть Ивана Ильича

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнёр сказал: без козырей, — и поддержал две бубны. Чего ж ещё? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнёра, как он бьёт по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку.

«Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», — думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трёх, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему всё равно. И ужасно думать, отчего ему всё равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». Отдохнуть? Нет, он несколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может её рассеять.

Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остаётся один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отравы эта не ослабевает, а всё больше и больше проникает всё существо его.

Friends would come for a game, sit down. They dealt, flexing the new cards, sorting diamonds with diamonds, seven of them. His partner bid no trump and opened with two diamonds. What more could one wish for? It should all go cheerfully, briskly—a grand slam. And suddenly Ivan Ilyich feels that gnawing pain, that taste in his mouth, and it seems wild to him that at the same time he should rejoice at a grand slam.

He looks at Mikhail Mikhailovich, his partner, striking the table with a sanguine hand and refraining, politely and indulgently, from picking up the tricks, but moving them towards Ivan Ilyich, so as to give him the pleasure of collecting them without taking the trouble to reach out his hand.

“Does he think I’m so weak that I can’t reach that far?” Ivan Ilyich thinks, forgets about the trumps and double trumps his own, and loses the slam by three tricks, and most terrible of all is that he sees how Mikhail Mikhailovich suffers and it makes no difference to him. And it is terrible to think why it makes no difference to him.

Everyone sees that it is hard for him, and they say: “We can quit if you’re tired. Get some rest.” Rest? No, he is not the least bit tired, and they play out the rubber. Everyone is gloomy and silent. Ivan Ilyich feels that it is he who has cast this gloom over them, and he cannot disperse it.

They eat supper and go home, and Ivan Ilyich is left alone with the consciousness that his life is poisoned for him and poisons life for others, and that this poison is not weakening but is permeating his whole being more and more.

## The Death of Ivan Ilyich

И с сознанием этим, да ещё с болью физической, да ещё с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

And with this consciousness, along with physical pain, along with terror, he had to go to bed and often not sleep from pain for the better part of the night. And the next morning he had to get up, dress, go to court, talk, write, and if he did not go, stay at home with the same twenty-four hours in a day, every one of which was torture. And he had to live alone on the brink of disaster like that, without a single human being who could understand and pity him.

## V

Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Фёдоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд всё открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило всё.

## V

So a month went by, then two. Before the New Year his brother-in-law came to their town and stayed with them. Ivan Ilyich was in court. Praskovya Fyodorovna had gone shopping. Going into his study, he found his brother-in-law there, a healthy, sanguine fellow, unpacking his suitcase. On hearing Ivan Ilyich's footsteps, he raised his head and looked at him silently for a moment. That look revealed everything to Ivan Ilyich. The brother-in-law opened his mouth to gasp, but checked himself. This movement confirmed everything.

— Что, переменялся?

“What, have I changed?”

— Да... есть перемена.

“Yes ... there's a change.”

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Фёдоровна, шурин пошёл к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.

And much as he tried after that to bring his brother-in-law around to talking about his external appearance, the brother-in-law would say nothing. Praskovya Fyodorovna came home, and the brother-in-law went to her. Ivan Ilyich locked the door and started looking in the mirror—full face, then profile. He picked up his portrait with his wife and compared it with what he saw in the mirror. The change was enormous. Then he bared his arms to the elbow, looked, pulled his sleeves down, sat on the ottoman, and turned darker than night.

## Смерть Ивана Ильича

«Не надо, не надо», — сказал он себе, вскочил, подошёл к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошёл в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошёл к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Фёдоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мёртвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошёл, пошёл к себе, лёг и стал думать: «Почка, блуждающая почка». Он вспомнил всё то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить её: так мало нужно, казалось ему.

«Нет, поеду ещё к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

— Куда ты, Жан? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на неё.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

“Don’t, don’t,” he said to himself, jumped to his feet, went to the desk, opened a brief, started reading it, but could not. He unlocked the door, went to the reception room. The door to the drawing room was shut. He went up to it on tiptoe and started listening.

“No, you’re exaggerating,” Praskovya Fyodorovna was saying.

“How ‘exaggerating’? Don’t you see—he’s a dead man, look in his eyes. No light. What’s wrong with him?”

“Nobody knows. Nikolaev” (this was another doctor) “said something, but I don’t know. Leshchetitsky” (this was the famous doctor) “said on the contrary ...”

Ivan Ilyich stepped away, went to his room, lay down, and began to think: “A kidney, a floating kidney.” He remembered all that the doctors had told him, how it had detached itself, and how it floats. By an effort of imagination he tried to catch this kidney and stop it, fasten it down; so little was needed, it seemed to him.

“No, I’ll go to see Pyotr Ivanovich again.” (This was the friend who had the doctor friend.) He rang the bell, ordered the horse harnessed, and made ready to go.

“Where are you off to, Jean?” his wife asked with an especially sad and unusually kind expression.

This unusual kindness angered him. He gave her a dark look.

“I must go to see Pyotr Ivanovich.”

He went to see his friend who had the doctor friend. And with him to the doctor. He found him in and had a long conversation with him.

## The Death of Ivan Ilyich

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нём, он всё понял.

Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Всё это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдёт всасывание, и всё поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься.

Наконец он пошёл в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займётся по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошёл в гостиную к чаю.

Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених у дочери. Иван Ильич провёл вечер, по замечанию Прасковьи Фёдоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке.

В одиннадцать часов он простился и пошёл к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошёл, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавлилась правильная деятельность.

«Да, это всё так, — сказал он себе. — Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарствах, приподнялся, принял его, лёг на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше».

On examining the anatomical and physiological details of what, in the doctor's opinion, was going on inside him, he understood everything.

There was a little thing, a tiny little thing, in the appendix. This could all be put right. Strengthen the energy of one organ, weaken the functioning of another, absorption would take place, and all would be put right. He was a little late for dinner. He dined, talked cheerfully, but for a long while could not go and get busy.

Finally he went to his study and at once sat down to work. He read briefs, worked, but the awareness that he had put off an important, intimate matter, which he would take up once he had finished, never left him. When he finished work, he remembered that this intimate matter was the thought of his appendix. But he did not give in to it, he went to the drawing room for tea.

There were guests; they talked, played the piano, sang; there was the examining magistrate, their daughter's desired fiancé. Ivan Ilyich spent the evening, as Praskovya Fyodorovna remarked, more cheerfully than others, but never for a moment did he forget that he had put off the important thought of his appendix.

At eleven o'clock he said good-night and went to his room. He had slept alone since the time of his illness, in a small room by his study. He went there, undressed, took a novel by Zola but did not read it, and thought. In his imagination the desired mending of the appendix was taking place. Absorption, ejection, restoration of the correct functioning.

"Yes, that's all so," he said to himself. "One need only assist nature." He remembered about his medicine, got up, took it, and lay on his back, waiting to feel the beneficial effect of the medicine and how it killed the pain. "Just take it regularly and avoid harmful influences; even now I feel a little better, a lot better."

## Смерть Ивана Ильича

Он стал щупать бок, — на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лёг на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьёзную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове.

«Боже мой, Боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка? Почка, — сказал он себе. — Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать её. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку.

«Зачем? Всё равно, — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. — Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им всё равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!»

Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

He began to touch his side—it did not hurt. “Yes, I don’t feel it, truly, it’s already much better.” He put out the candle and lay on his side ... The appendix was mending, absorbing. Suddenly he felt the old familiar, dull, gnawing pain, stubborn, quiet, serious. In his mouth the same familiar vileness. His heart shrank, his head clouded.

“My God, my God!” he said. “Again, again, and it will never stop.” And suddenly he pictured the matter from an entirely different side. “The appendix! The kidney!” he said to himself. “This is not a matter of the appendix or the kidney, but of life and ... death. Yes, there was life, and now it is going, going, and I cannot hold it back. Yes, why deceive myself? Isn’t it obvious to everybody except me that I’m dying and it is only a question of the number of weeks, days—right now, maybe. Once there was light, now there’s darkness. Once I was here, and now I’ll be there! Where?” Cold came over him, his breath stopped. He heard only the pounding of his heart.

“There will be no me, so what will there be? There will be nothing. So where will I be, when there’s no me? Can this be death? No, I don’t want it.” He jumped up, wanted to light a candle, felt around with trembling hands, dropped the candle and candlestick on the floor, and fell back on the pillow again.

“What for? It makes no difference,” he said to himself, gazing wide-eyed into the darkness. “Death. Yes, death. And none of them knows, or wants to know, or feels pity. They’re playing.” (He heard through the door the distant roll of a voice and ritornello.) “It makes no difference to them, but they’ll also die. Fools. For me sooner, for them later; but it will be the same for them. Yet they make merry. Brutes!”

He was choking with anger. And he felt tormentingly, unbearably oppressed. It just can’t be that everyone has always been condemned to this terrible fear. He sat up.

## The Death of Ivan Ilyich

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать всё сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и всё такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я всё шёл ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?»

Опять на него нашёл ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на неё, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Фёдоровна провожала их. Она услышала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на неё.

— Что ты, Jean?

— Ниче...го. У...ро...нил. — «Что же говорить. Она не поймёт», — думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

“Something’s not right. I must calm down; I must think it over from the beginning.” And so he began to think it over. “Yes, the beginning of the illness. I bumped my side, and then I was just the same, that day and the next; it ached a little, then more, then doctors, then dejection, anguish, doctors again; and I was coming closer and closer to the abyss. Losing strength. Closer and closer. And here I am wasted away, there’s no light in my eyes. It’s death, yet I think about my appendix. I think about repairing my appendix, yet it’s death. Can it be death?”

Again terror came over him, he gasped for breath, bent down, began searching for the matches, leaned his elbow on the night table. It hindered him and hurt him, he became angry with it, vexedly leaned still harder, and the night table fell over. In despair, suffocating, he fell on his back, expecting death at once.

The guests were just leaving. Praskovya Fyodorovna was seeing them off. She heard something fall and came in.

“What’s the matter?”

“Nothing. I tipped it over by accident.”

She went out and came back with a candle. He was lying there, breathing heavily and very rapidly, like a man who has run a mile, looking at her with a fixed gaze.

“What’s the matter, Jean?”

“Nothing. I tipped it over.” (“No use talking. She won’t understand,” he thought.)

In fact she did not understand. She picked up the night table, lit the candle, and left hastily: she had to see off a lady guest.

When she returned, he was lying on his back in the same way, looking up.



## Смерть Ивана Ильича

— Что тебе, или хуже?

“What is it, are you worse?”

— Да.

“Yes.”

Она покачала головой, посидела.

She shook her head and sat down.

— Знаешь, Jean, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом.

“You know, Jean, I think we ought to invite Leshchetitsky to the house.”

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

This meant inviting the famous doctor and not minding the cost. He smiled venomously and said: “No.” She sat for a while, went over, and kissed him on the forehead.

Он ненавидел её всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть её.

He hated her with all the forces of his soul while she was kissing him, and had a hard time not pushing her away.

— Прощай. Бог даст, заснёшь.

“Good night. God grant you fall asleep.”

— Да.

“Yes.”

## VI

## VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

Ivan Ilyich saw that he was dying, and he was in continual despair.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

In the depths of his soul Ivan Ilyich knew that he was dying, but not only was he not accustomed to it, he simply did not, he could not possibly understand it.

## The Death of Ivan Ilyich

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости.

Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шёлк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблён? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить её другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

The example of a syllogism he had studied in Kiesewetter's logic—Caius is a man, men are mortal, therefore Caius is mortal—had seemed to him all his life to be correct only in relation to Caius, but by no means to himself. For the man Caius, man in general, it was perfectly correct; but he was not Caius and not man in general, he had always been quite, quite separate from all other beings; he was Vanya, with mamá, with papá, with Mitya and Volodya, with toys, the coachman, with a nanny, then with Katenka, with all the joys, griefs, and delights of childhood, boyhood, youth.

Was it for Caius, the smell of the striped leather ball that Vanya had loved so much? Was it Caius who had kissed his mother's hand like that, and was it for Caius that the silk folds of his mother's dress had rustled like that? Was it he who had mutinied against bad food in law school? Was it Caius who had been in love like that? Was it Caius who could conduct a court session like that?

And Caius is indeed mortal, and it's right that he die, but for me, Vanya, Ivan Ilyich, with all my feelings and thoughts—for me it's another matter. And it cannot be that I should die. It would be too terrible.

So it felt to him.

"If I was to die like Caius, I would have known it, my inner voice would have told me so, but there was nothing of the sort in me; and I and all my friends understood that things were quite otherwise than with Caius. And now look!" he said to himself. "It can't be. It can't be, but it is. How can it be? How can I understand it?"

And he could not understand and tried to drive this thought away as false, incorrect, morbid, and to dislodge it with other correct, healthy thoughts. But this thought, not only a thought but as if a reality, came back again and stood before him.

## Смерть Ивана Ильича

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — всё то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть.

То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шёл в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешёптываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело.

Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала своё сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала своё, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только она правда?»

И товарищи и подчинённые с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может постарому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от неё.

And he called up a series of other thoughts in place of this thought, in hopes of finding support in them. He tried to go back to his former ways of thinking, which had screened him formerly from the thought of death. But—strange thing—all that had formerly screened, hidden, wiped out the consciousness of death now could no longer produce that effect. Lately Ivan Ilyich had spent most of his time in these attempts to restore the former ways of feeling that had screened him from death.

He would say to himself: “I’ll busy myself with work—why, I used to live by it.” And he would go to court, driving away all doubts; he would get into conversation with colleagues and sit down, by old habit absentmindedly, pensively glancing around at the crowd and placing his two emaciated arms on the armrests of the oaken chair, leaning over as usual to a colleague, drawing a brief towards him, exchanging whispers, and then, suddenly raising his eyes and sitting up straight, would pronounce certain words and begin the proceedings.

But suddenly in the midst of it the pain in his side, paying no attention to the stage the proceedings had reached, would begin its own gnawing work. Ivan Ilyich sensed it, drove the thought of it away, but it would go on, and it would come and stand directly in front of him and look at him, and he would be dumbstruck, the light would go out in his eyes, and he would again begin asking himself: “Can it alone be true?”

And his colleagues and subordinates would be surprised and upset to see that he, such a brilliant and subtle judge, was confused, was making mistakes. He would rouse himself, try to come to his senses, and somehow bring the session to an end and return home with the sad awareness that his work in court could no longer, as before, conceal from him what he wanted concealed; that by his work in court he could not rid himself of it.

## The Death of Ivan Ilyich

И что было хуже всего — это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на неё, прямо ей в глаза, смотрел на неё и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через всё, и ничто не могло заслонить её.

Бывало, в это последнее время он войдёт в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он, — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то.

Он искал причину: и находил её в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, подсадовал на неряшливость дочери и её друзей, — то разорвано, то карточки перевёрнуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот *etablissement* [сооружение] с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь, или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но всё было хорошо, потому что он не помнил о ней, её не видно было.

And what was worst of all was that it drew him to itself not so that he would do something, but only so that he should look it straight in the eye, look at it and, doing nothing, suffer inexpressibly.

And to save himself from this state, Ivan Ilyich looked for consolation, for other screens, and other screens appeared and for a short time seemed to save him, but at once they were again not so much destroyed as made transparent, as if it penetrated everything and there was no screening it out.

It happened in this latter time that he would go into the drawing room he had decorated—into that drawing room where he had fallen, for which—as he laughed venomously to think—for the arranging of which he had sacrificed his life, because he knew that his illness had begun with that bruise—he would go in and see that something had made a scratch on the varnished table.

He would look for the cause and find it in the bronze ornamentation of an album, the edge of which was bent. He would pick up the album, an expensive thing he had put together with love, and become vexed at his daughter's and her friends' carelessness—here a torn page, there some photographs turned upside down. He would diligently put it all in order and bend back the ornamentation.

Then it would occur to him to transfer this whole *établissement* with the albums to another corner, near the flowers. He would call a servant: his daughter or his wife would come to help him; they would disagree, contradict him, he would argue, get angry; but all was well, because he did not remember about it, it was not seen.

## Смерть Ивана Ильича

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг она мелькнула через ширмы, он увидал её. Она мелькнула, он ещё надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит всё то же, всё так же ноет, и он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему всё?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шёл в кабинет, ложился и оставался опять один с нею, с глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на неё и холодеть.

## VII

Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нём для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или ещё более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

But then his wife would say, as he was moving the objects himself: “Let the servants do it, you’ll do harm to yourself again,” and suddenly it would flash from behind the screen, he would see it. It flashes, he still hopes it will disappear, but he involuntarily senses his side—there sits the same thing, gnawing in the same way, and he can no longer forget it, and it clearly stares at him from behind the flowers. What is it all for?

“And it’s true that I lost my life here, over this curtain, as if I was storming a fortress. Can it be? How terrible and how stupid! It can’t be! Can’t be, but is.”

He would go to his study, lie down, and again remain alone with it. Face to face with it, and there was nothing to be done with it. Only look at it and go cold.

## VII

How it came about in the third month of Ivan Ilyich’s illness it was impossible to say, because it came about step by step, imperceptibly, but what came about was that his wife, and daughter, and son, and the servants, and acquaintances, and the doctors, and, above all, he himself—knew that for others the whole interest in him consisted only in how soon he would finally vacate his place, free the living from the constraint caused by his presence, and be freed himself from his sufferings.

He slept less and less; they gave him opium and began injections of morphine. But that did not relieve him. The dull anguish he experienced in a half-sleeping state only relieved him at first as something new, but then became as much or still more of a torment than outright pain.

Special foods were prepared for him by the doctors’ prescription; but these foods became more and more tasteless, more and more disgusting to him.

## The Death of Ivan Ilyich

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда весёлый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнажённые, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошёл в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дёгтя от сапог и свежести зимнего воздуха, лёгкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубашке, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, — подошёл к судну.

— Герасим, — слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чём, и быстрым движением повернул к больному своё свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

Special arrangements were also made for his stools, and this was a torment to him each time. A torment in its uncleanness, indecency, and smell, in the awareness that another person had to take part in it.

But in this most unpleasant matter there also appeared a consolation for Ivan Ilyich. The butler's helper, Gerasim, always came to clear away after him.

Gerasim was a clean, fresh young muzhik, grown sleek on town grub. Always cheerful, bright. At first the sight of this man, always clean, dressed Russian style, performing this repulsive chore, embarrassed Ivan Ilyich.

Once, having gotten up from the commode and being unable to pull up his trousers, he collapsed into the soft armchair, looking with horror at his naked, strengthless thighs with their sharply outlined muscles.

Gerasim, in heavy boots, spreading around him the pleasant smell of boot tar and the freshness of winter air, came in with a light, strong step, in a clean canvas apron and a clean cotton shirt, the sleeves rolled up on his bared, strong, young arms, and without looking at Ivan Ilyich—obviously restraining the joy of life shining on his face, so as not to offend the sick man—went to the commode.

“Gerasim,” Ivan Ilyich said weakly.

Gerasim gave a start, evidently afraid he was remiss in something, and with a quick movement he turned to the sick man his fresh, kind, simple young face, only just beginning to sprout a beard.

“What, sir?”

“I suppose this must be unpleasant for you. Excuse me. I can't help it.”

## Смерть Ивана Ильича

— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. — Отчего же не потрудиться? Ваше дело большое.

И он ловкими, сильными руками сделал своё привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич всё так же сидел в кресле.

— Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошёл. — Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услад.

Герасим подошёл; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свёл его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо... всё делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпустить.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принёс стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше, — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку.

“Mercy, sir.” And Gerasim flashed his eyes and bared his young, white teeth. “Why shouldn’t I do it? It’s a matter of you being sick.”

And with his deft, strong hands he did his usual business and went out, stepping lightly. And five minutes later, stepping just as lightly, he came back.

Ivan Ilyich was still sitting the same way in the armchair.

“Gerasim,” he said, when the man had set down the clean, washed commode, “help me, please. Come here.” Gerasim went to him. “Lift me up. It’s hard for me alone, and I’ve sent Dmitri away.”

Gerasim went to him. With his strong arms, just as lightly as he stepped, he embraced him, deftly and softly lifted and held him, pulling his trousers up with the other hand, and was about to sit him down. But Ivan Ilyich asked him to lead him to the sofa. Gerasim, effortlessly and as if without pressure, led him, almost carried him, to the sofa and sat him down.

“Thank you. How deftly, how well ... you do it all.”

Gerasim smiled again and was about to leave. But Ivan Ilyich felt so good with him that he did not want to let him go.

“I tell you what: move that chair for me, please. No, that one, under my legs. It’s a relief for me when my legs are raised.”

Gerasim brought the chair, set it down noiselessly, lowering it all at once right to the floor, and placed Ivan Ilyich’s legs on it; it seemed to Ivan Ilyich that it was a relief for him when Gerasim lifted his legs high.

“I feel better when my legs are raised,” said Ivan Ilyich. “Put that pillow under for me.”

## The Death of Ivan Ilyich

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

— Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят?

— Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо ещё?

— Да мне что ж делать? Всё переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так поддержи мне так ноги повыше, можешь?

— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Gerasim did so. Again he lifted his legs and set them down. Again Ivan Ilyich felt better while Gerasim was holding his legs. When he lowered them, it seemed worse.

“Gerasim,” he said to him, “are you busy now?”

“By no means, sir,” said Gerasim, who had learned from the townspeople how to talk with gentlefolk.

“What more have you got to do?”

“What’s there for me to do? I’ve done everything except split the wood for tomorrow.”

“Then hold my legs a little higher, can you?”

“That I can.” Gerasim lifted his legs higher, and it seemed to Ivan Ilyich that in that position he felt no pain at all.

“But what about the wood?”

“Please don’t worry, sir. There’ll be time.”

Ivan Ilyich told Gerasim to sit and hold his legs, and he conversed with him. And—strange thing—it seemed to him that he felt better while Gerasim held his legs.

After that Ivan Ilyich occasionally summoned Gerasim and made him hold his legs on his shoulders, and he liked talking with him. Gerasim did it easily, willingly, simply, and with a kindness that moved Ivan Ilyich. Health, strength, vigor of life in all other people offended Ivan Ilyich; only Gerasim’s strength and vigor of life did not distress but soothed him.



## Смерть Ивана Ильича

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме ещё более мучительных страданий и смерти.

И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи.

Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича.

И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого.

Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведён на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения.

The main torment for Ivan Ilyich was the lie, that lie for some reason acknowledged by everyone, that he was merely ill and not dying, and that he needed only to keep calm and be treated, and then something very good would come of it. While he knew that whatever they did, nothing would come of it except still more tormenting suffering and death.

And he was tormented by that lie, tormented that no one wanted to acknowledge what they all knew and he knew, but wanted to lie to him about his terrible situation, and wanted him and even forced him to participate in that lie.

The lie, this lie, perpetrated upon him on the eve of his death, the lie that must needs reduce the dreadful, solemn act of his death to the level of all their visits, curtains, sturgeon dinners ... was terribly tormenting for Ivan Ilyich.

And—strangely—many times, as they were performing their tricks over him, he was a hair's breadth from shouting at them: "Stop lying! You know and I know that I'm dying, so at least stop lying." But he never had the courage to do it.

The dreadful, terrible act of his dying, he saw, was reduced by all those around him to the level of an accidental unpleasantness, partly an indecency (something like dealing with a man who comes into a drawing room spreading a bad smell), in the name of that very "decency" he had served all his life; he saw that no one would feel sorry for him, because no one even wanted to understand his situation.

## The Death of Ivan Ilyich

Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролёт, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплюсь ещё»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?»

Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чём дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несёт его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесёт тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие её, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь.

Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему всё-таки хотелось этого.

Only Gerasim understood that situation and pitied him. And therefore Ivan Ilyich felt good only with Gerasim. It felt good to him when Gerasim held his legs up, sometimes all night long, and refused to go to sleep, saying: “Please don’t worry, Ivan Ilyich, I’ll still get some sleep;” or when, suddenly addressing him familiarly, he added: “Maybe if you weren’t sick, but why not be a help?”

Gerasim alone did not lie, everything showed that he alone understood what it was all about, and did not find it necessary to conceal it, and simply pitied his emaciated, weakened master. Once he even said straight out, as Ivan Ilyich was sending him away:

“We’ll all die. Why not take the trouble?”— expressing by that that he was not burdened by his trouble precisely because he was bearing it for a dying man and hoped that when his time came someone would go to the same trouble for him.

Apart from this lie, or owing to it, the most tormenting thing for Ivan Ilyich was that no one pitied him as he wanted to be pitied: there were moments, after prolonged suffering, when Ivan Ilyich wanted most of all, however embarrassed he would have been to admit it, to be pitied by someone like a sick child.

He wanted to be caressed, kissed, wept over, as children are caressed and comforted. He knew that he was an important judge, that he had a graying beard, and that therefore it was impossible; but he wanted it all the same.

## Смерть Ивана Ильича

И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьёзное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит своё мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нём.

Эта ложь вокруг него и в нём самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

And in his relations with Gerasim there was something close to it, and therefore his relations with Gerasim comforted him. Ivan Ilyich wanted to weep, wanted to be caressed and wept over, and then comes his colleague, the judge Shebek, and instead of weeping and caressing, Ivan Ilyich makes a serious, stern, profoundly thoughtful face and, by inertia, gives his opinion on the significance of a decision of the appeals court and stubbornly insists on it.

This lie around and within him poisoned most of all the last days of Ivan Ilyich's life.

## VIII

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушёл и пришёл Пётр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — всё было всё равно, всё было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно всё уходящей, но всё не ушедшей ещё жизни; надвигающаяся всё та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и всё та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай», — подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок», — подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

## VIII

It was morning. It was morning if only because Gerasim had gone and the servant Pyotr had come, put out the candles, drawn one curtain, and quietly begun tidying up. Whether it was morning or evening, Friday or Sunday, was all the same, all one and the same: a gnawing, tormenting pain, never subsiding for a moment; the awareness of life ever hopelessly going but never quite gone; always the same dreadful, hateful death approaching—the sole reality now—and always the same lie. What were days, weeks, and hours here?

“Would you care for tea, sir?”

“He needs order, so his masters should have tea in the mornings,” he thought, and said only:

“No.”

“Would you like to lie on the sofa?”

“He needs to tidy up the room, and I’m in his way, I am uncleanness, disorder,” he thought, and said only:

“No, let me be.”

## The Death of Ivan Ilyich

Лакей повозился ещё. Иван Ильич протянул руку. Пётр подошёл услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Пётр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Фёдоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо. — «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. — Да, чаю... принеси.

Пётр пошёл к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». — Пётр, подай мне лекарство. — «Отчего же, может быть, ещё поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Всё это вздор, обман, — решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. — Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Пётр вернулся. — Нет, иди. Принеси чаю.

Пётр ушёл. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Всё то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Всё лучше смерти!»

Когда Пётр вошёл с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Пётр смутился от этого взгляда. И когда Пётр смутился, Иван Ильич очнулся.

The servant potted around some more. Ivan Ilyich reached out his hand. Pyotr obligingly came over.

“What can I do for you, sir?”

“My watch.”

Pyotr picked up the watch, which was lying just by his hand, and gave it to him.

“Half past eight. Are they up yet?”

“No, sir. Vassily Ivanovich” (that was the son) “has gone to school, and Praskovya Fyodorovna gave orders to wake her if you asked for her. Shall I do so?”

“No, don’t.” “Shouldn’t I try some tea?” he thought. “Yes ... bring tea.”

Pyotr went to the door. Ivan Ilyich was afraid to be left alone. “How can I keep him? Ah, yes, my medicine.” “Pyotr, give me my medicine.” “Who knows, maybe the medicine will still help.” He took a spoonful and swallowed it. “No, it won’t help. It’s all nonsense, deception,” he decided as soon as he tasted the familiar sickly sweet and hopeless taste. “No, I can’t believe it any more. But the pain, why the pain? If only it would stop for a moment.” And he moaned. Pyotr turned back. “No, go. Bring the tea.”

Pyotr went out. Ivan Ilyich, left alone, moaned not so much from pain, terrible though it was, as from anguish. “Always the same, always the same, all these endless days and nights. Let it be sooner. What sooner? Death, darkness. No, no. Anything’s better than death!”

When Pyotr came in with the tea tray, Ivan Ilyich looked at him for a long time in perplexity, not understanding who and what he was. Pyotr became embarrassed under this gaze. And when Pyotr became embarrassed, Ivan Ilyich came to his senses.

## Смерть Ивана Ильича

— Да, — сказал он, — чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причёсываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало: особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет ещё страшнее, если он взглянет на своё тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось всё. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освежённым, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лёг, вытянув ноги. Он лёг и отпустил Петра.

Всё то же. То капля надежды блеснёт, то взбушует море отчаяния, и всё боль, всё боль, всё тоска и всё одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперёд знает, что при других ещё хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь ещё. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирным, весёлый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам всё устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

“Ah, yes,” he said, “the tea ... good, set it down. Only help me to wash and put on a clean shirt.”

And Ivan Ilyich began to wash. With pauses for rest, he washed his hands, his face, brushed his teeth, started combing his hair, and looked in the mirror. He became frightened; especially frightening was how his hair lay flat on his pale forehead.

While his shirt was being changed, he knew he would be still more frightened if he looked at his body, so he did not look at himself. But now it was all over. He put on his dressing gown, wrapped himself in a plaid, and sat down in the armchair to have tea. For a moment he felt refreshed, but as soon as he began to drink the tea, there was again the same taste, the same pain. He forced himself to finish it and lay down, stretching his legs. He lay down and dismissed Pyotr.

Always the same thing. A drop of hope glimmers, then a sea of despair begins to rage, and always the pain, always the pain, always the anguish, always one and the same thing. Being alone is a horrible anguish, he wants to call someone, but he knows beforehand that with others it is still worse. “At least morphine again—to become oblivious. I’ll tell him, the doctor, to think up something else. It’s impossible like this, impossible.”

An hour, two hours pass in this way. But now there’s a ringing in the front hall. Could be the doctor. Right, it’s the doctor, fresh, brisk, fat, cheerful, with an expression that says: So you’re scared of something here, but we’ll fix it all up for you in no time. The doctor knows that this expression is unsuitable here, but he has put it on once and for all and cannot take it off, like a man who puts on a tailcoat in the morning and goes around visiting.

The doctor rubs his hands briskly, comfortingly.

## The Death of Ivan Ilyich

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреться, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреться, а когда обогреться, то уж всё исправит.

— Ну что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «Как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «Как вы провели ночь?»

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?»

Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Всё так же ужасно. Боль не проходит, не сдаётся. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Фёдоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. — И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьёзным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.

Иван Ильич знает твёрдо и несомненно, что всё это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на колени, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддаётся этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

“I’m cold. It’s freezing outside. Let me warm up,” he says with such an expression as if they only had to wait a little till he warmed up, and when he warmed up, he would put everything right.

“Well, how ...?”

Ivan Ilyich senses that the doctor would like to say “How’s every little thing?” but that he, too, senses that he cannot say that, and so he says: “How was your night?”

Ivan Ilyich looks at the doctor with a questioning expression: “Will you never be ashamed of lying?”

But the doctor does not want to understand the question.

And Ivan Ilyich says:

“Terrible as ever. The pain doesn’t go away, doesn’t let up. If you could do something!”

“Ah, you sick people are always like that. Well, sir, now I seem to be warm; even the most exacting Praskovya Fyodorovna could make no objection to my temperature. Well, sir, greetings.” And the doctor shakes his hand.

And, setting aside all his earlier playfulness, the doctor begins with a serious air to examine the sick man, takes his pulse, his temperature, and then gets to the tappings, the auscultations.

Ivan Ilyich knows firmly and indubitably that this is all nonsense and empty deception, but when the doctor, getting on his knees, stretches out, putting his ear now higher, now lower, and with a most significant face performs various gymnastic evolutions over him, Ivan Ilyich succumbs to it, as he used to succumb to lawyers’ speeches, when he knew very well they were all lies and why they were lies.

## Смерть Ивана Ильича

Доктор, стоя на коленках на диване, ещё что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шёлковое платье Прасковьи Фёдоровны и послышался её упрёк Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению её не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на неё, разглядывает её всю и в упрёк ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту её рук, шеи, глянец её волос и блеск её полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит её, и прикосновение её заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Её отношение к нему и его болезни всё то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он, не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить».

Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Фёдоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

The doctor, kneeling on the sofa, was still doing his tapping when the silk dress of Praskovya Fyodorovna rustled in the doorway and she was heard reproaching Pyotr for not announcing the doctor's arrival to her.

She comes in, kisses her husband, and at once begins to insist that she was up long ago and it was only by misunderstanding that she was not there when the doctor came.

Ivan Ilyich looks at her, examines her all over, and reproaches her for her whiteness, and plumpness, and the cleanness of her hands, her neck, the glossiness of her hair, and the sparkle of her eyes, so full of life. He hates her with all the forces of his soul. And her touch makes him suffer from a flood of hatred for her.

Her attitude towards him and his illness is ever the same. As the doctor had developed in himself an attitude towards his patients which he was unable to take off, so she had developed a certain attitude towards him—that he had not done something he should have, and he himself was to blame, and she lovingly reproached him for it—and she could no longer take off this attitude towards him.

“He simply doesn't listen! Doesn't take his medicine on time. And above all, he lies in a position which is surely bad for him—legs up.”

She told about how he made Gerasim hold his legs.

The doctor smiled with kindly disdain, meaning: “No help for it, these sick people sometimes think up such foolishness; but it's forgivable.”

When the examination was over, the doctor looked at his watch, and then Praskovya Fyodorovna announced to Ivan Ilyich that, whether he liked it or not, she had invited a famous doctor that day, and he would examine him and consult with Mikhail Danilovich (as the usual doctor was called).

## The Death of Ivan Ilyich

— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она всё делает для него и только этим не даёт ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она всё над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нём и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального, вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьёзным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть.

Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Фёдоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

“Don’t resist, please. I’m doing it for myself,” she said ironically, letting it be felt that she was doing it all for him, and that alone gave him no right to refuse. He said nothing and scowled. He felt that this lie surrounding him was so entangled that it was hard to sort anything out.

Everything she did for him she did only for herself, and she said to him that she was doing for herself that which she was in fact doing for herself, as if it was such an incredible thing that he would have to understand it inversely.

Indeed, at half past eleven the famous doctor arrived. Again there were auscultations and significant conversations in his presence and in the next room about the kidney, about the appendix, and questions and answers with such a significant air that again, instead of the real question of life and death, which now alone confronted him, there re-emerged the question of the kidney and the appendix, which were not behaving as they should, and for which Mikhail Danilovich and the famous doctor were about to fall upon them and make them mend their ways.

The famous doctor took his leave with a serious but not hopeless air. And to the timid question which Ivan Ilyich addressed to him, raising his eyes glittering with fear and hope, whether there was a possibility of recovery, he replied that, though he could not vouch for it, there was such a possibility.

The hopeful look with which Ivan Ilyich saw the doctor off was so pitiful that, on seeing it, Praskovya Fyodorovna even burst into tears as she came out of the study to hand the famous doctor his honorarium.



## Смерть Ивана Ильича

Подъём духа, произведённый обнадёживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же своё болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали инъекцию, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Фёдоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она ещё утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли.

Теперь он забыл про это, и её наряд оскорбил его. Но он скрыл своё оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Фёдоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая.

Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без неё по предписанию доктора.

— Да, и Фёдор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

The boost in his spirits produced by the doctor's reassurance did not last long. Again the same room, the same paintings, curtains, wallpaper, vials, and his same sick, suffering body. And Ivan Ilyich began to moan; he was given an injection and became oblivious.

When he came to, it was getting dark; his dinner was brought. He forced himself to swallow some bouillon; and again the same thing, and again the approach of night.

After dinner, at seven o'clock, Praskovya Fyodorovna came into his room dressed for the evening, with fat, tight-laced breasts, and with traces of powder on her face. She had already reminded him in the morning that they were going to the theater. Sarah Bernhardt was visiting, and they had a box he had insisted on taking.

Now he had forgotten about it, and her outfit offended him. But he concealed his offense when he remembered that he himself had insisted that they get a box and go, because it was an educational aesthetic pleasure for the children.

Praskovya Fyodorovna came in pleased with herself, but as if guilty.

She sat down, asked about his health, as he could see, only in order to ask, not in order to find out, knowing that there was nothing to find out, and began telling him what she had in mind: that they would not have gone for anything, but the box had been taken, that Hélène and their daughter and Petrishchev (the examining magistrate, the daughter's fiancé) were going, and that it was impossible to let them go alone. And that otherwise she would have liked better to sit with him. Only he should do what the doctor had prescribed in her absence.

"Ah, yes, and Fyodor Petrovich" (the fiancé) "wanted to come in. Can he? And Liza."

"Let them."

## The Death of Ivan Ilyich

Вошла дочь разодетая, с обнажённым молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюблённая и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие её счастью.

Вошёл и Фёдор Петрович во фраке, завитой а la Capoul, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких чёрных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Фёдор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:

— Нет; а вы уж видели?

— Да, в «Adrienne Lecouvreur»

Прасковья Фёдоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности её игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

The daughter came in all dressed up, with her young body bared, that body which made him suffer so. Yet she exposed it. Strong, healthy, obviously in love, and indignant at the illness, suffering, and death that interfered with her happiness.

Fyodor Petrovich came in, too, in a tailcoat, his hair curled à la Capoule, with a long, sinewy neck closely encased in a white collar, with an enormous white shirt front and narrow black trousers tightly stretched over his strong thighs, with a white glove drawn onto one hand, and holding an opera hat.

After him a little schoolboy crept in inconspicuously, in a new uniform, the poor lad, wearing gloves, and with terrible blue circles under his eyes, the meaning of which Ivan Ilyich knew.

He had always pitied his son. And his frightened and commiserating glance was dreadful for him. Apart from Gerasim, it seemed to Ivan Ilyich that Vasya alone understood and pitied him.

They all sat down and asked again about his health. Silence ensued. Liza asked her mother about the opera glasses. An altercation ensued between mother and daughter about who had done what with them. It was unpleasant.

Fyodor Petrovich asked Ivan Ilyich whether he had seen Sarah Bernhardt. At first Ivan Ilyich did not understand what he was being asked, and then he said:

“No, have you?”

“Yes, in Adrienne Lecouvreur.”

Praskovya Fyodorovna said she had been especially good in something or other. The daughter objected. A conversation began about the gracefulness and realism of her acting—that very conversation which is always one and the same.

## Смерть Ивана Ильича

В середине разговора Фёдор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно, негодуя на них.

Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть.

Лиза первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорила.

— Однако, если ехать, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чём-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, — она ушла с ними, но боль осталась. Всё та же боль, всё тот же страх делали то, что ничто не тяжело, ничто не легче. Всё хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, всё то же, и всё нет конца, и всё страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима, — ответил он на вопрос Петра.

## IX

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал её: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела уснуть Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:

In the middle of the conversation, Fyodor Petrovich glanced at Ivan Ilyich and fell silent. The others glanced at him and fell silent. Ivan Ilyich was staring straight ahead with glittering eyes, obviously indignant with them.

This had to be rectified, but it was quite impossible to rectify it. This silence had to be broken somehow. No one ventured to do it, and they all became frightened that the decorous lie would somehow be violated, and what was there would be clear to all.

Liza was the first to venture. She broke the silence. She wanted to conceal what they all felt, but she let it slip.

“Anyhow, if we’re going, it’s time,” she said, glancing at her watch, a gift from her father, and smiling barely perceptibly to the young man about something known only to them, and she stood up, her dress rustling.

They all stood up, said good-bye, and left.

When they were gone, it seemed a relief to Ivan Ilyich: there was no lie—it had gone with them—but the pain remained. The same pain, the same fear made it so that nothing was harder, nothing was easier. It was all worse.

Again minute followed minute, hour hour, always the same, and always without end, and always more frightening the inevitable end.

“Yes, send Gerasim,” he replied to Pyotr’s question.

## IX

Late that night his wife returned. She came in on tiptoe, but he heard her: he opened his eyes and hastily closed them. She wanted to send Gerasim away and sit with him herself. He opened his eyes and said:

## The Death of Ivan Ilyich

— Нет. Иди.

“No. Go away.”

— Ты очень страдаешь?

“Are you suffering very much?”

— Всё равно.

“It makes no difference.”

— Прими опиума.

“Take some opium.”

Он согласился и выпил. Она ушла.

He agreed and drank it. She left.

Часов до трёх он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий чёрный мешок и глубокий, и всё дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает.

Until about three he lay in tormenting oblivion. It seemed to him that they were pushing him painfully into some narrow and deep black sack, and kept pushing him further, and could not push him through. And this thing, which is terrible for him, is being accomplished with suffering. And he is afraid, and yet he wants to fall through, and he struggles, and he helps.

И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Всё тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.

And then suddenly he lost hold and fell, and came to his senses. The same Gerasim is sitting at the foot of the bed, dozing calmly, patiently. And he is lying with his emaciated legs in stockings placed on Gerasim’s shoulders; the same candle with its shade, and the same unceasing pain.

— Уйди, Герасим, — прошептал он.

“Go away, Gerasim,” he whispered.

— Ничего, посижу-с.

“Never mind, I’ll stay, sir.”

— Нет. Уйди.

“No, go away.”

Он снял ноги, лёг боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя.

He took his legs down, lay sideways on his arm, and felt sorry for himself. He waited only until Gerasim went to the next room, and then stopped holding himself back and wept like a child.

Он плакал о беспомощности своей, о своём ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

He wept over his helplessness, over his terrible loneliness, over the cruelty of people, over the cruelty of God, over the absence of God.

«Зачем ты всё это сделал? Зачем привёл меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

“Why have You done all this? Why have You brought me here? Why, why do You torment me so terribly? ...”

## Смерть Ивана Ильича

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну ещё, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нём.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое, он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.

И опять он весь предался вниманию такому напряжённому, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда.

Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

He did not expect an answer and wept that there was not and could not be an answer. The pain rose up again, but he did not stir, did not call out. He kept saying to himself: "Well, go on, beat me! But what for? What have I done to You? What for?"

Then he quieted down, not only stopped weeping, but stopped breathing, and became all attention: it was as if he were listening not to a voice that spoke in sounds, but to the voice of his soul, to the course of thoughts arising in him.

"What do you want?" was the first clear idea, expressible in words, that he heard. "What do you want? What do you want?" he repeated to himself. "What? Not to suffer. To live," he replied.

And again he gave himself entirely to such intense attention that even the pain did not distract him.

"To live? To live how?" asked the voice of his soul.

"Yes, to live as I lived before: nicely, pleasantly."

"As you lived before, nicely and pleasantly?" asked the voice. And he started to go over in his imagination the best moments of his pleasant life. But—strange thing—all those best moments of his pleasant life seemed now not at all as they had seemed then.

All—except for his first memories of childhood. There, in childhood, there had been something really pleasant, which one could live with if it came back. But the man who had experienced that pleasure was no more: it was as if the memory was about someone else.

As soon as that began the result of which was he, the Ivan Ilyich of today, all that had then seemed like joys melted away and turned into something worthless and often vile.

## The Death of Ivan Ilyich

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было ещё кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты.

Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом всё это смещалось, и ещё меньше стало хорошего. Далее ещё меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мёртвая служба, эти заботы о деньгах, итак год, и два, и десять, и двадцать — и всё то же. И что дальше, то мёртвое.

Точно равномерно я шёл под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шёл на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так, как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал всё как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное.

And the further from childhood, the closer to the present, the more worthless and dubious were those joys. It began with law school. There had still been some truly good things there: there had been merriment, there had been friendship, there had been hopes. But in the higher grades those good moments had already become more rare.

Then, during the initial time of working for the governor, there had again been good moments: these were his memories of love for a woman. Then it all became confused, and there was still less that was good. And further on still less of the good, and the further, the less.

His marriage ... so accidental, and the disenchantment, and the smell of his wife's breath, and the sensuality, the dissembling! And this deadly service, and these worries about money, and that for a year, and two, and ten, and twenty—and all of it the same. And the further, the deadlier.

As if I was going steadily downhill, while imagining I was going up. And so it was. In public opinion I was going uphill, and exactly to that extent life was slipping away from under me ... And now that's it, so die!

But what is this? Why? It can't be. Can it be that life is so meaningless and vile? And if it is indeed so vile and meaningless, then why die, and die suffering? Something's not right.

"Maybe I did not live as I should have?" would suddenly come into his head. "But how not, if I did everything one ought to?" he would say to himself and at once drive this sole solution to the whole riddle of life and death away from him as something completely impossible.

## Смерть Ивана Ильича

«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живёшь в суде, когда судебный пристав провозглашает: „Суд идёт!..“ Суд идёт, идёт суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?»

И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать всё об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашёл ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что всё это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

## X

Прошло ещё две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лёжа почти всё время лицом к стене, он одиноко страдал всё те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал всё ту же неразрешающуюся думу.

Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни за чем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменившие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела.

“What do you want now, then? To live? To live how? To live as you live in court, when the usher proclaims: ‘Court is in session!’ Court is in session, court is in session,” he repeated to himself. “Here is that court! But I’m not guilty!” he cried out angrily. “What for?”

And he stopped weeping and, turning his face to the wall, began to think about one and the same thing: why, what for, all this horror?

But however much he thought, he found no answer. And when it occurred to him, as it often did, that it was all happening because he had not lived right, he at once recalled all the correctness of his life and drove this strange thought away.

## X

Another two weeks went by. Ivan Ilyich no longer got up from the sofa. He did not want to lie in bed and so he lay on the sofa. And, lying almost always face to the wall, he suffered all alone the same insoluble suffering and thought all alone the same insoluble thought.

What is this? Can it be true that it is death? And an inner voice replied: Yes, it’s true. Why these torments? And the voice replied: Just so, for no reason. Beyond and besides that there was nothing.

From the very beginning of his illness, from the time when Ivan Ilyich first went to the doctor, his life had divided into two opposite states of mind, which alternated with each other: now there was despair and the expectation of an incomprehensible and terrible death, now there was hope and the interest-filled process of observing the functioning of his body.

## The Death of Ivan Ilyich

То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.

Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шёл под гору, — чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лёжа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, — одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, — последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем.

Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдалённому, к детству, и на нём останавливалось.

Вспоминал ли Иван Ильич о варёном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки.

Now there hung before his eyes a kidney or an intestine that shirked its duty for a time; now there was only incomprehensible, terrible death, from which there was no escape.

These two states of mind had alternated from the very beginning of the illness; but the further the illness went, the more dubious and fantastic became the considerations of the kidney and the more real the awareness of approaching death.

He needed only to recall what he had been three months ago and what he was now, to recall how steadily he had gone downhill, for any possibility of hope to be destroyed.

In the recent time of that solitude in which he found himself, lying face to the back of the sofa, that solitude in the midst of the populous town and his numerous acquaintances and family—a solitude than which there could be none more total anywhere: not at the bottom of the sea, not under the earth—in the recent time of that dreadful solitude, Ivan Ilyich had lived only on imaginings of the past.

One after another, pictures of the past appeared to him. They always began with the nearest time and went back to the most remote, to childhood, and there they stayed.

If Ivan Ilyich recalled the stewed prunes he had been given to eat that day, he then recalled the raw, shriveled French prunes of his childhood, their special taste, the abundant saliva when it got as far as the stone, and alongside this memory of taste emerged a whole series of memories from that time: his nanny, his brother, his toys.



## Смерть Ивана Ильича

«Не надо об этом... слишком больно», — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна.

«Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки».

И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шёл другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе.

«Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже», — думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее.

«Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...»

Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения.

“Mustn’t think about that ... too painful,” Ivan Ilyich said to himself and shifted back to the present. A button on the back of the sofa and the puckered morocco.

“Morocco’s expensive, flimsy; there was a quarrel over it. But there was another morocco and another quarrel, when we tore our father’s briefcase and were punished, and mama brought us little pies.”

And again it stayed with childhood, and again it was painful for Ivan Ilyich, and he tried to drive it away and think of something else.

And again right there, along with this course of recollection, another course of recollection was going on in his soul—of how his illness had grown and worsened. The further back it went, the more life there was. There was more goodness in life, and more of life itself. The two merged together.

“As my torment kept getting worse and worse, so the whole of life got worse and worse,” he thought. There was one bright spot back there, at the beginning of life, and then it became ever darker and darker, ever quicker and quicker.

“In inverse proportion to the square of the distance from death,” thought Ivan Ilyich. And this image of a stone plunging down with increasing speed sank into his soul. Life, a series of ever-increasing sufferings, races faster and faster towards its end, the most dreadful suffering. “I’m racing ...”

He would give a start, rouse himself, want to resist; but he already knew that it was impossible to resist, and again, with eyes weary from looking, but unable not to look at what was before him, he gazed at the back of the sofa and waited—waited for that dreadful fall, impact, and destruction.

## The Death of Ivan Ilyich

«Противиться нельзя, — говорил он себе. — Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни.

«Этого-то допустить уж невозможно, — говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. — Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

“It’s impossible to resist,” he said to himself. “But at least to understand what for? Even that is impossible. It would be possible to explain it, if I were to say to myself that I have not lived as one ought. But that cannot possibly be acknowledged,” he said to himself, recalling all the legitimacy, regularity, and decency of his life.

“To admit that is quite impossible,” he said to himself, his lips smiling, as if there were someone to see that smile and be deceived by it. “There’s no explanation! Torment, death ... What for?”

## XI

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером.

На другой день Прасковья Фёдоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Фёдора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему.

Прасковья Фёдоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевёл свой взгляд на неё. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно, — сказал он.

## XI

So two weeks went by. During those weeks an event desired by Ivan Ilyich and his wife took place: Petrishchev made a formal proposal. This took place in the evening.

The next day Praskovya Fyodorovna came to her husband’s room, pondering how to announce Fyodor Petrovich’s proposal to him, but the previous night a new change for the worse had occurred in Ivan Ilyich.

Praskovya Fyodorovna found him on the same sofa, but in a new position. He was lying on his back, moaning, and staring straight in front of him with a fixed gaze.

She started talking about medicines. He shifted his gaze to her. She did not finish what she had begun: such spite, precisely against her, was expressed in that gaze.

“For Christ’s sake, let me die in peace,” he said.

## Смерть Ивана Ильича

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену и на её вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

She was going to leave, but just then their daughter came in and went over to greet him. He looked at his daughter in the same way as at his wife, and to her questions about his health said drily to her that he would soon free them all of himself. They both fell silent, sat for a while, and left.

— В чём же мы виноваты? — сказала Лиза матери. — Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучать?

“What fault is it of ours?” Liza said to her mother. “As if we did anything! I feel sorry for papa, but why torment us?”

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

The doctor came at the usual time. Ivan Ilyich answered “Yes” and “No,” without taking his spiteful gaze from him, and in the end said:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможет, так оставьте.

“You know you can’t help at all, so leave off.”

— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.

“We can ease your suffering,” said the doctor.

— И того не можете; оставьте.

“Even that you can’t do. Leave off.”

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Фёдоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

The doctor came out to the drawing room and informed Praskovya Fyodorovna that things were very bad and that the only remedy was opium to ease his sufferings, which must be terrible.

Доктор оговорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

The doctor said that his physical sufferings were terrible, and that was true; but more terrible than his physical sufferings were his moral sufferings, and these were his chief torment.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

His moral sufferings consisted in the fact that, looking at Gerasim’s sleepy, good-natured, high-cheekboned face that night, it had suddenly occurred to him: And what if my whole life, my conscious life, has indeed been “not right”?

## The Death of Ivan Ilyich

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное всё могло быть не то.

И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — всё это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой всё это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, — сказал он себе, — и я уйду из жизни с сознанием того, что погубил всё, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?»

Он лёг навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, всё то, чем он жил, и ясно видел, что всё это было не то, всё это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть.

Это сознание увеличило, удесятило его физические страдания. Он стонал и метался и обдёргивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

It occurred to him that what had formerly appeared completely impossible to him, that he had not lived his life as he should have, might be true. It occurred to him that those barely noticeable impulses he had felt to fight against what highly placed people considered good, barely noticeable impulses which he had immediately driven away—that they might have been the real thing, and all the rest might have been not right.

His work, and his living conditions, and his family, and these social and professional interests—all might have been not right. He tried to defend it all to himself. And he suddenly felt all the weakness of what he was defending. And there was nothing to defend.

“But if that’s so,” he said to himself, “and I am quitting this life with the consciousness that I have ruined everything that was given me, and it is impossible to rectify it, what then?”

He lay on his back and started going over his whole life in a totally new way. In the morning, when he saw the footman, then his wife, then his daughter, then the doctor—their every movement, their every word confirmed the terrible truth revealed to him that night. In them he saw himself, all that he had lived by, and saw clearly that it was all not right, that it was all a terrible, vast deception concealing both life and death.

This consciousness increased his physical sufferings tenfold. He moaned, and thrashed, and tore at his clothes. It seemed to be choking and crushing him. And for that he hated them.

He was given a large dose of opium and became oblivious; but at dinnertime the same thing began again. He drove everyone away and thrashed from side to side.

His wife came to him and said:

## Смерть Ивана Ильича

— Jean, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

“Jean, darling, do this for me” (for me?). “It can’t do any harm and often helps. It’s really nothing. Even healthy people often ...”

Он открыл широко глаза.

He opened his eyes wide.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

“What? Take communion? Why? There’s no need! Although ...”

Она заплакала.

She began to cry.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

“Yes, my dear? I’ll send for ours, he’s so nice.”

— Прекрасно, очень хорошо, — проговорил он.

“Excellent, very good,” he said.

Когда пришёл священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления её. Он причастился со слезами на глазах.

When the priest came and confessed him, he softened, felt a sort of relief from his doubts and consequently from his sufferings, and a moment of hope came over him. He began thinking about the appendix again and the possibility of its mending. He took communion with tears in his eyes.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему.

When they laid him down after communion, he felt eased for a moment, and hopes of life appeared again. He began to think about the operation that had been suggested to him.

«Жить, жить хочу», — говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

“To live, I want to live,” he said to himself. His wife came to congratulate him on his communion; she said the usual words and added:

— Не правда ли, тебе лучше?

“Isn’t it true you’re feeling better?”

Он, не глядя на неё, проговорил: да.

He said “Yes” without looking at her.

Её одежда, её сложение, выражение её лица, звук её голоса — всё сказало ему одно: «Не то. Всё то, чем ты жил и живёшь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть».

Her clothes, her figure, the expression of her face, the sound of her voice—all told him one thing: “Not right. All that you’ve lived and live by is a lie, a deception, concealing life and death from you.”

## The Death of Ivan Ilyich

И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

## XII

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришёл конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остаётся сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» — и так продолжал кричать на букву «у».

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том чёрном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьётся в руках палача приговорённый к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его.

And as soon as he thought it, his hatred arose and together with hatred his tormenting physical sufferings and with his sufferings the consciousness of near, inevitable destruction. Something new set in: twisting, and shooting, and choking his breath.

The expression of his face when he said “Yes” was terrible. Having uttered this “Yes,” he looked her straight in the face, turned over with a quickness unusual in his weak state, and shouted:

“Go away, go away, leave me alone!”

## XII

From that moment began a three-day ceaseless howling, which was so terrible that it was impossible to hear it without horror even through two closed doors. The moment he answered his wife, he realized that he was lost, that there was no return, that the end had come, the final end, and his doubt was still not resolved, it still remained doubt.

“Oh! Ohh! Oh!” he howled in various intonations. He began by howling, “I won’t!” and so went on howling on the letter O.

For all three days, in the course of which there was no time for him, he was thrashing about in that black sack into which an invisible, invincible force was pushing him. He struggled as one condemned to death struggles in the executioner’s hands, knowing he cannot save himself; and with every moment he felt that, despite all his efforts to struggle, he was coming closer and closer to what terrified him.

## Смерть Ивана Ильича

Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту чёрную дыру, и ещё больше в том, что он не может пролезть в неё. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперёд и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, ещё сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперёд, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

— Да, всё было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? — опросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошёл к его постели. Умиравший всё кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил её, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно ещё поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь.

Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на неё. Она с открытым ртом и с неотёртыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало её.

He felt that his torment lay in being thrust into that black hole, and still more in being unable to get into it. What kept him from getting into it was the claim that his had been a good life. This justification of his life clutched at him, would not let him move forward, and tormented him most of all.

Suddenly some force shoved him in the chest, in the side, choked his breath still more, he fell through the hole, and there, at the end of the hole, something lit up. What was done to him was like what happens on the train, when you think you are moving forward, but are moving backward, and suddenly find out the real direction.

“Yes, it was all not right,” he said to himself, “but never mind. I can, I can do ‘right.’ But what is ‘right’?” he asked himself and suddenly grew still.

This was at the end of the third day, an hour before his death. Just then the little schoolboy quietly stole into his father’s room and went up to his bed. The dying man went on howling desperately and thrashing his arms about. His hand landed on the boy’s head. The boy seized it, pressed it to his lips, and wept.

Just then Ivan Ilyich fell through, saw light, and it was revealed to him that his life had not been what it ought, but that it could still be rectified. He asked himself what was “right,” and grew still, listening.

Here he felt that someone was kissing his hand. He opened his eyes and looked at his son. He felt sorry for him. His wife came over to him. He looked at her. She was gazing at him with a despairing expression, openmouthed, and with unwiped tears on her nose and cheek. He felt sorry for her.

## The Death of Ivan Ilyich

«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя... — Он хотел сказать ещё «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймёт тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий.

«Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя, — Её куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

“Yes, I’m tormenting them,” he thought. “They’re sorry, but it will be better for them when I die.” He wanted to say that, but was unable to bring it out. “Anyhow, why speak, I must act,” he thought. He indicated his son to his wife with his eyes and said:

“Take him away ... sorry ... for you, too ...” He also wanted to say “Forgive,” but said “Forgo,” and, no longer able to correct himself, waved his hand, knowing that the one who had to would understand.

And suddenly it became clear to him that what was tormenting him and would not be resolved was suddenly all resolved at once, on two sides, on ten sides, on all sides. He was sorry for them, he had to act so that it was not painful for them. To deliver them and deliver himself from these sufferings.

“How good and how simple,” he thought. “And the pain?” he asked himself. “What’s become of it? Where are you, pain?”

He became attentive.

“Yes, there it is. Well, then, let there be pain.

“And death? Where is it?”

He sought his old habitual fear of death and could not find it. Where was it? What death? There was no more fear because there was no more death.

Instead of death there was light.

“So that’s it!” he suddenly said aloud. “What joy!”



## Смерть Ивана Ильича

Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась ещё два часа. В груди его kloкотало что-то; измождённое тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало kloкотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Её нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.

For him all this happened in an instant and the significance of that instant never changed. For those present, his agony went on for two more hours. Something gurgled in his chest; his emaciated body kept twitching. Then the gurgling and wheezing gradually subsided.

“It’s finished!” someone said over him.

He heard those words and repeated them in his soul. “Death is finished,” he said to himself. “It is no more.”

He drew in air, stopped at mid-breath, stretched out, and died.



Больш книг-білінгв на [bilinguator.com](https://bilinguator.com)  
More bilingual books on [bilinguator.com](https://bilinguator.com)  
Więcej dwujęzycznych książek na [bilinguator.com](https://bilinguator.com)  
Больше книг-билингв на [bilinguator.com](https://bilinguator.com)  
Більше книг-білінгв на [bilinguator.com](https://bilinguator.com)

2024